ГРАНОВСКИЙ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Книга посвящена жизни и деятельности известного профессора Московского университета Грановского (1813–1855) В ней определятся его гражданская позиция в социально-политической жизни России 40-50-х гг. 19 века, проводится анализ его «органической теории» развития исторического процесса.

- З. А. Каменский
  -
  - Введение
  - Глава I
  - Глава II
  - Глава III
    -
    - 1. ИСТОКИ, ОСНОВАНИЕ
    - 2. ОРГАНИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ
    - 3. ИТОГИ
  - Глава IV
    -
    - 1. ЦЕЛЬ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
    - 2. МЕТОДОЛОГИЯ ОРГАНИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
  - Глава V
    - 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВВЕДЕНИЯ К КУРСАМ КОНЦА 40—50-х ГОДОВ
    - 2. ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ И ФИЛОСОФИЯ ИСТОРИИ
    - 3. ЭКОНОМИКА И ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
    - 4. ГРАНОВСКИЙ И ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
  - ЗАКЛЮЧЕНИЕ
  - ПРИЛОЖЕНИЕ
  - ЛИТЕРАТУРА
  - УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9

- ○ 10
- ○ 11
- ○ 12
- ○ 13
- ○ 14
- ○ 15
- ○ 16
- ○ 17
- ○ 18
- ○ 19
- ○ 20
- ○ 21
- ○ 22

3. А. Каменский
Тимофей Николаевич Грановский

Ее [истории человечества] задача — нравственная, просвещенная, независимая от роковых определений личность и сообразное требованиям такой личности общество.

Т. Н. Грановский

[Грановский]… был одним из сильнейших посредников между наукою и нашим обществом; очень немногие лица в нашей истории имели такое могущественное влияние… Все замечательные ученые и писатели нашего времени были или друзьями, или последователями его.

Н. Г. Чернышевский

Люди вообще настолько имеют значения и влияния, насколько нужны… Время еще впереди, когда настанет для нас потребность в специалистах, в ученых; мы нуждаемся теперь в бескорыстных и неуклонных служителях науки, которые бы твердой рукою держали и высоко поднимали ее светоч; которые говоря нам о добре и нравственности — о человеческом достоинстве и чести, собственной жизнью подтверждали истину своих слов… Таков был Грановский…

И. С. Тургенев

РЕДАКЦИИ ФИЛОСОФСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Каменский Захар Абрамович (род. в 1915 г.) — Доктор философских наук, старший научный сотрудник-консультант

Института философии АН СССР, автор научных трудов по истории русской философии, среди которых — «П. Я. Чаадаев» (М., 1946), «Философские идеи русского Просвещения» (М., 1971), «Русская философия начала XIX века и Шеллинг» (М., 1980), «Московский кружок любомудров» (М., 1980), «Н. И. Надеждин» (М., 1984).

Рецензент — докт. филос. наук А. И. ВОЛОДИН

Введение

40—50-е годы XIX в. протекала деятельность профессора всеобщей истории Московского университета Тимофея Николаевича Грановского. Это была эпоха политической и идеологической реакции в России. Но в то же время они были и годами подъема общественной мысли. Эти, казалось бы, противоречащие характеристики состояния общества очень часто совмещаются, взаимодействуют: подъем общественного протеста вызывает реакцию со стороны господствующего класса, а политическая и идеологическая реакция в свою очередь вызывает общественный протест.

В России первой половины XIX в. это взаимодействие прослеживается очень отчетливо. «Вольности» начала века вызвали реакцию конца 10-х — начала 20-х годов; реакции противостояло декабристское движение и примыкающий к нему широкий фронт свободомыслия. После восстания декабристов реакция ужесточилась, и в эти годы общество дает ей отпор интенсивным развитием передовой мысли и общественного движения, развитием, которое становилось все продуктивнее и радикальнее.

Политико-идеологические контроверзы были выражением глубинных процессов в экономике и социальных отношениях. Они формировали те общественные потребности, которые и удовлетворялись названными политическими и идеологическими движениями.

Первая половина XIX в. была для России временем развития капиталистического производства, кризиса крепостничества. Процесс этот все убыстрялся от начала к середине века. Но, как известно, в эти годы крепостничество еще оставалось сильным. Сельское хозяйство, основа экономики России, несмотря на разлагающие его процессы, еще пребывало в рамках феодальной формации. Промышленность развивалась свободнее, но и она чувствовала на себе оковы феодализма.

Соответственно формировались и социальные отношения. Основную массу русского народа составляло крестьянство, находящееся в крепостной зависимости от другого основного класса русского общества — помещиков. Русская буржуазия была немногочисленна и слаба, хотя от десятилетия к десятилетию

увеличивала свою численность и капитал. Рабочий класс только-только формировался и был еще тесно связан с крестьянством. Малочисленна была профессиональная интеллигенция. Однако все эти структуры были весьма подвижны, и общая тенденция их развития соответствовала тому, что можно назвать буржуазным развитием.

Социальные отношения характеризовались чрезвычайной напряженностью. Крестьянское, солдатское, зародившееся рабочее движение к середине века усилились. Становилось ясно, что нужны решительные преобразования, так как ни экономика, ни культура, ни армия не могли удовлетворить в условиях феодально-крепостнических отношений предъявляемых к ним обществом требований, и к концу 50-х годов вопрос стоял не о том, нужны ли реформы, а о том, какие и как их проводить. Объективно все было устремлено к ломке феодализма и к установлению буржуазных отношений.

Однако эта устремленность для каждой социальной группы имела свое содержание и свое направление.

Определенным образом складывались и отношения идеологические, формировались направления русской общественной мысли.

В 20—30-е годы структура ее была такова: официальная идеология, выражавшая интересы крепостников и самодержавия; противостоящая ей идеология дворянских революционеров-декабристов, объективно обосновывавшая необходимость развития России по буржуазному пути (их традиции, несмотря на террор, продолжали различные тайные кружки); Просвещение, близкое к декабризму по своей социальной природе и решению многих теоретических вопросов, но отличающееся от декабризма тем, что предлагало вместо революции путь мирных реформ, преобразований и просвещения народа.

В 40-х — начале 50-х годов происходит усложнение, дифференциация этой структуры. Традиции декабризма продолжает революционный демократизм, формирующийся в 40-х годах и представленный в эти годы В. Г. Белинским, А. И. Герценом, Н. П. Огаревым, петрашевцами, М. А. Бакуниным. В 30-х годах они были сторонниками Просвещения, а в 40—50-х утверждались на новых теоретических позициях — революционности, материализме, связанном с диалектикой, атеизме, социализме.

Со всем тем в 40-х — первой половине 50-х годов Просвещение еще существует, и его представителями являются П. Я. Чаадаев, А. И. Галич. Именно в рамках Просвещения выступает в эти годы и Т. Н. Грановский. Но надо при этом иметь в виду, что

Просвещение уже исчерпало свой потенциал, сыграло свою роль, в частности роль отечественного идейного источника формирования революционно-демократической идеологии. Отличаясь в эти годы от революционного демократизма по названным его основным установкам, Просвещение все же еще удерживает элементы, дающие возможность революционному демократизму стремиться к контактам, к единому фронту с Просвещением, действовать с ним заодно в отношении ряда вопросов — прежде всего в борьбе против крепостного права, в критике официальной и консервативной идеологии, в требовании просвещения народа, в теоретических построениях — философии истории, гносеологии, диалектике и т. п.

Из Просвещения выходит и еще одно направление русской общественной мысли, которое, правда, в эти годы проходит стадию формирования и определенно заявит о себе лишь в пореформенную эпоху. Это так называемый либерализм. В настоящее время принято считать, что в России либерализм сложился в общественно-политическое течение в годы революционной ситуации (1859–1861) и крестьянской реформы (1861), т. е. после смерти Грановского. Однако в конце 40-х — начале 50-х годов будущие либералы — Е. Ф. Корш, В. П. Боткин, Н. Х. Кетчер, К. Д. Кавелин, Б. Н. Чичерин и другие — уже существенно отличались по своим взглядам и от революционных демократов (по указанным выше установкам), и даже от просветительства Грановского, который стоял как бы между этими двумя течениями, не примыкая полностью ни к одному из них, занимая промежуточную и потому противоречивую позицию.

Что касается правого лагеря, то наряду с по-прежнему действовавшей и в государственном смысле господствовавшей официальной идеологией надо указать на славянофильство, которое в собственно теоретическом, особенно в философском отношении резко противостояло как революционному демократизму, так и Просвещению, представители которого — Чаадаев и Грановский наряду с революционным демократом Белинским — были самыми непримиримыми и острыми критиками славянофильства. При всей его специфичности славянофильство в современной литературе относят часто к либерализму, его правому крылу.

Социальная база всех этих течений вырисовывается отчетливо: революционный демократизм был крестьянской идеологией, Просвещение и либерализм выражали различные оттенки и степени радикальности формировавшейся в России буржуазии, официальная идеология была идеологией помещиков, высшего и среднего чиновничества, т. е. феодально-

крепостнических слоев русского общества. На стыках этих социальных слоев и их идеологий образовывались группы и располагались деятели, которые по отдельным вопросам оказывались в пределах то одного, то другого направления: «чистых» форм не было и здесь, как их никогда не бывает в периоды дифференциации, становления социальных слоев и их идеологий. Такова в общем была структура русской общественной мысли середины XIX в., социально-идеологические условия, в которых протекала деятельность Т. Н. Грановского.

Грановский, как говорил позднее А. И. Герцен в «Былом и думах», оказал огромное влияние на молодое поколение (см. 47, 9, 123)[1]. Н. Г. Чернышевский поставил Грановского в один ряд со значительнейшими современными ему западными историками. В Московском университете лекции профессора Грановского слушали А. Н. Островский, И. М. Сеченов, К. Д. Ушинский, А. Н. Афанасьев. Своим учителем признавали его многие крупные русские историки. «Все мы более или менее — ученики Грановского и преклоняемся перед его чистой памятью», — писал о нем В. О. Ключевский (61, 391).

Не удивительно, что память о Грановском сохраняется до сих пор. Его именем названа одна из центральных улиц Москвы, прилегающая к зданию университета. Зимой 1920 г. в связи с пятидесятилетием со дня смерти А. И. Герцена Совнарком под председательством В. И. Ленина принял специальное постановление о переименовании Большой Никитской улицы в улицу Герцена, а ряд прилегающих к ней переулков был назван именами его друзей, имевших весьма важное влияние на развитие русской общественной мысли. Среди новых названий оказалась и улица Грановского (бывший Шереметьевский переулок).

Глава I
ГОДЫ УЧЕНИЯ

имофей Николаевич Грановский родился 9 марта 1813 г. в Орле в семье чиновника Орловского соляного управления.

Дома он получил довольно беспорядочное образование, хотя много читал и изучал французский и английский языки. Любимец деда, он часто жил в его имении, в селе Погорелец, с матерью Анной Васильевной, урожденной Черныш, чрезвычайно поощрявшей его страсть к чтению. Она регулярно доставляла сыну книги из библиотек соседних имений графа Каменского и помещика Пушкарева. Это была преимущественно приключенческая литература и особенно увлекавшие мальчика исторические романы Вальтера Скотта.

Тринадцати лет юношу определяют в московский пансион Ф. Кистера. В январе 1831 г. он отправляется в Петербург и поступает на службу в департамент иностранных дел. В Петербурге Грановскому пришлось заботиться о себе самому, он познал большую материальную нужду. Однако это не помешало ему приготовиться к вступительному экзамену в университет, и в августе 1832 г. он был зачислен студентом философско-юридического факультета. Биографы Грановского единодушно утверждают, что университет не имел на него большого влияния, преподавание в нем велось на низком уровне (49, 19–24. 82, 28–29). Грановский неоднократно жаловался друзьям на недостаточность университетского образования. Если он все же приобрел в университетские годы известные познания, то благодаря только самостоятельному чтению. Он читал художественную литературу, но в особенности историческую (Ф. П. Г. Гизо, Л. А. Тьер, Б. Г. Нибур, Э. Гиббон, У. Робертсон, Д. Юм и другие).

В эти годы Грановский увлекается поэтическим творчеством. Его стихи родственны романтической поэзии Д. В. Веневитинова и Н. В. Станкевича: одинокий поэт или мыслитель, презирающий суетную толпу, отвергающий ее нравы и мораль и стремящийся удалиться от толпы, все же считает высшей целью жизнь во имя человечества, проникнут верой в его светлое будущее — вот тема

поэзии Грановского, в которой выражен его идеал. Такие идеи, чувства и побуждения были свойственны петербургскому студенчеству. О том, что Грановский в эти годы писал стихи, вспоминал учившийся в Петербургском университете в те же годы И. С. Тургенев, которому Грановский читал отрывки из своей драмы «Фауст».

В университетские годы Грановский читает современную русскую литературу, интересуется журналистикой, в частности журналом Н. Полевого «Телеграф». В 1835 г. он познакомился через П. А. Плетнева с А. С. Пушкиным.

По окончании университета в 1835 г. (см. 27) Грановский служит секретарем 1-го отделения гидрографического департамента при Морском министерстве и одновременно занимается литературным трудом — переводит и рецензирует иностранную литературу для Энциклопедического словаря и «Библиотеки для чтения», в которой публикует свою первую статью «Судьбы еврейского народа», сотрудничает в журнале министерства народного просвещения.

В это же время Грановский знакомится с Я. М. Неверовым, членом московского кружка Н. В. Станкевича, и его другом. Неверов перенес в петербургский кружок молодежи традиции москвичей— увлечение немецкой философией, Шеллингом, в особенности его эстетикой. Вскоре Грановскому представилась возможность познакомиться и с самим Н. В. Станкевичем. Попечитель Московского учебного округа граф Г. С. Строганов, в годы правления которого расцвел Московский университет, собирал для него научные кадры. Грановский был рекомендован покровительствующему наукам вельможе как подающий надежды ученый. Строганов предложил Грановскому продолжить образование в Германии с целью подготовки к профессорской деятельности в Московском университете.

Посетив Москву по делам будущей командировки, в феврале и апреле 1836 г. Грановский встретился с Н. В. Станкевичем, В. Г. Белинским и со всем их кружком. Дружба со Станкевичем сыграла значительную роль в формировании идей будущего ученого. Она укрепилась сперва в переписке, установившейся между ними вскоре после отъезда Грановского за границу, а затем и в личном общении — когда они оба оказались за рубежом.

После недолгого пребывания в Москве Грановский в середине мая 1836 г. отправляется учиться в Берлинский университет.

В Германии Грановский прежде всего решил усовершенствовать свои знания немецкого языка, для того чтобы свободно слушать берлинских профессоров и пользоваться

немецкой литературой. Несмотря на то что еще в Петербургском университете он показал в немецком языке «очень хорошие успехи», он писал из Берлина, что еще только учится по-немецки. Но через полтора месяца «легко» читает Шиллера, понимает лекции профессоров и собирается штудировать «Жизнь Иисуса» Д. Ф. Штрауса.

Годы, проведенные в Берлине, были годами формирования научного мировоззрения Грановского. В 1836/37 учебном году он слушает курсы крупнейших немецких профессоров — историка Л. Ранке; географа К. Риттера; юриста, главы исторической школы права Ф. К. Савиньи. Логику и историю философии он слушает у К. Вердера (у Вердера Грановский вместе со Станкевичем брал также и частные уроки логики); философию истории — у Э. Ганса, ученика Г. В. Ф. Гегеля. Словом, Грановский получает образование у лучших немецких профессоров того времени, в том числе непосредственных учеников и последователей Гегеля.

К. Риттер и Л. Ранке производят на него наибольшее впечатление. «Из профессоров, — сообщает он, — слушаю прилежно только Риттера и Ранке. Какие люди!» (8, 395). Позднее он сообщал о том, что слушает у Ранке историю французской революции: «Я ничего подобного не читал об этой эпохе. Ни Тьер, ни Минье не могут сравняться с Ранке… Ранке бесспорно самый гениальный из новых немецких историков» (9, 35–36). Как видим, круг его интересов широк, и он сам так его обрисовывает. «Хочу посвятить философии целый семестр исключительно, — сообщает он Я. М. Неверову о своих планах на 1837 г. — Летом Ганс будет читать философию истории, я запишусь у него и возьму курс у Габлера… На следующий семестр я выбрал себе курсы: пр[оф.] Тренделенбурга: Логику, Ганса: Государственное право европ[ейских] народов; Цумпта: объяснение Горациевых сатир; Вердера: Историю новой философии от Декарта; Ранке: Новую историю» (8, 395; 398). О их совместных занятиях в Берлинском университете подробно сообщает Станкевич (см. 83, 160–162).

Восхищаясь некоторыми своими учителями, усваивая, несомненно, их идеи, как, например, идеи Риттера о роли географических условий в истории и другие, Грановский не становится адептом кого-нибудь из них. Он стремится усвоить последнее слово европейской науки и выработать свою научную позицию. Слушая самые разнообразные курсы, в том числе и не относящиеся непосредственно к его специальности, он все-таки сосредоточивается на изучении истории, усиленно работает над первоисточниками, главным образом по европейскому средневековью.

Грановского привлекает история развития политических

форм и учреждений. Здесь его особенно интересует средневековая Испания, которая, по его мнению, представляет древнейшие конституционные формы. «Я теперь более всего занимаюсь историей Испании, — сообщает он друзьям. — Чудный народ! Они понимали конституционные формы тогда, когда об этом нигде не имели понятия… Теперешняя Европа еще борется за то, что у них тогда (в XIV в. — *З. К.)* было» (8, 351). «Более всего меня занимает пока история Испании… У этого народа были в 14 веке конституционные формы и понятия о свободе, до каких дай Бог немцам дойти через сто лет» (8, 412). Из этой же области вопросов намерен Грановский избрать и тему будущей своей диссертации: «Для диссертации я выбрал предмет: об образовании и упадке городских общин в средние века. Позволят ли?» (8, 351). К этому времени относится едва ли не единственное в период пребывания за границей высказывание по социальному вопросу. В письме к Е. П и Н. Г. Фроловым из Вены от 20 мая 1838 г. он рассказывает об обеде у венского банкира Вальтера, где «одна русская аристократка уверяла, что наши крестьяне [2] очень счастливы и не чувствуют никакого желания другой участи. Мне стало досадно, слушая это, я заспорил, разгорячился…» (8, 411). Тогда же Грановский принимается за историю турков и халифата. Как признавал сам Грановский в вышеприведенных письмах к Станкевичу и Я. М. Неверову, это был период накопления знаний, фактов, отдельных обобщений, которые нужно было еще свести в теорию.

Грановский понимал, что необходимо было найти метод, с помощью которого можно было бы научно подойти к рассмотрению истории, и этот метод нельзя выработать, не обратившись к философии. Иначе чем можно объяснить, что он, приехав изучать историю, посещает столько философских курсов и читает философскую литературу?

Самую полную информацию о занятиях Грановского философией дает его переписка с однокурсником по Петербургскому университету В. В. Григорьевым. Здесь он высказывается о 1) необходимости философии как науки; 2) ее способности к решению задач, перед ней стоящих; 3) диалектическом характере философии.

Первый тезис Грановский выдвигает в связи с высказанным Григорьевым «презрением к немцам и философии». Он видит корень такого отношения в том, что А. А. Фишер (1799–1861), профессор охранительного направления, у которого оба они учились философии в Петербурге, читал «какую-то другую науку», пользы которой он теперь не понимает. Грановский признается, что «не знал, что такое философия, пока не приехал

сюда» (9, 17, 18). Словами, очень похожими на те, какими ему самому доказывал Станкевич необходимость изучения философии, Грановский писал Григорьеву: «Работай, воспитывай себя; готовься к разрешению великих вопросов. Я делаю то же… Займись, голубчик, философией… Это вовсе не пустая, мечтательная наука. Она положительнее других и дает им смысл» (9, 13–14). Настоящую философию Грановский видит в системе Гегеля. Именно ее он проповедует Григорьеву, рекомендует ею заняться, видит в ней средство познания наиболее сокровенных (из вообще доступных познанию) вопросов бытия.

Вторую и третью из названных позиций — дееспособность и диалектичность философии — Грановский формулирует как идеи гегелевской философии. «Учись по-немецки, — советует он Григорьеву, — и начинай читать Гегеля. Он успокоит твою душу. Есть вопросы, на которые человек не может дать удовлетворительного ответа. Их не решает и Гегель, но все, что *теперь* (курсив мой. — *З. К.)* доступно знанию человека, и самое знание у него чудесно объяснено» (9, 14). В этом высказывании присутствует агностическое допущение. Оно содержится в мнении, будто «есть вопросы, на которые человек не может дать… ответа» (там же). Однако не следует ли понимать это ограничение возможностей интеллекта относительно, а не абсолютно? Лишь во времени? Лишь в том смысле, что *теперь* на эти вопросы нельзя ответить?

Подобная интерпретация находит свое основание и подтверждение и в том понимании диалектики познания, диалектики рассуждения, которое предлагает Грановский. Человек, диалектически верно рассуждающий, всегда приходит к определенному, а отнюдь не скептическому выводу, говорит он. «Имеем ли мы право, — спрашивал он Григорьева, — доверять отрицательным результатам наших сомнений? — Нет. Мы можем, мы должны сомневаться, — это из прекрасных прав человека; но эти сомнения должны вести к чему-нибудь; мы не должны останавливаться на первых отрицательных ответах, а идти далее, действовать всею диалектикою, какою нас Бог одарил, идти до конца, если не абсолютного, то возможного для нас. Это правило для всего человечества… Хаос в нас, в наших идеях, в наших понятиях — а мы приписываем его миру… „Wer die Welt vernunftig ansieht, den sieht sie auch vernunftig an“ (Кто разумно смотрит на мир, на того и мир смотрит разумно. — См. 46, 12), — говорит Гегель. И это едва ли не величайшая истина, сказанная им» (9, 13). Если исследование, рассуждение приводит к скепсису, то это доказывает лишь, «что твоя диалектика еще не укрепилась, что ты не умеешь еще перейти из одного определения в другое,

противуположное» (там же). Таковы те немногие общефилософские рассуждения, какие мы обнаруживаем у Грановского в это время. Приложение философских идей к предмету истории, которым он специально занимался в этот период, было весьма ограниченно: он очень мало говорит о философии истории, гегелевской философии истории, к которой он относится весьма сдержанно и даже критически. «Гегелеву философию истории, — сообщает он Н. В. Станкевичу и Я. М. Неверову 15 июля 1838 г., — я прочел… от начала до конца и со вниманием. Начало: все введение в древний мир — отлично, хорошо, но далее много субъективных мнений, особливо в отделе о средних веках. Он несправедлив к этому отделу истории. Еще странно мнение (blosse Meinung), что история никогда и никому не приносила практической пользы, что ни один народ не воспользовался ее уроками» (8, 358–359). Сначала, продолжает Грановский, он согласился с этим мнением, но затем понял его ошибочность: «…всякий день современной истории доказывает их (практических уроков истории. — *З. К.*) могущество и влияние. В этом теперь у меня твердое убеждение» (8, 359). Станкевич не соглашался с Грановским и резко отвечал ему: «Пожалуйста, если удастся встретиться с ним (Шевыревым. — *З. К.*) в Берлине, не говори того, что ты в письме своем говоришь против Гегеля: только оружие давать! А между тем ты врешь! Разумеется, Гегель прав. Надо быть идиотом, чтобы справляться с историей, как поступить в каком-нибудь положении политических дел. Такой политик похож будет на учителя латинского языка в Воронежской гимназии, который запретил своим пансионерам купаться, потому что в это лето утонул в Москве один студент. Но, что история учит знать настоящие потребности, или, лучше сказать, воплощает развитие духа и через это воспитывает в нас способность схватить и обсудить каждый новый момент и распорядиться, — кто же это отвергает?» (83, 464).

Проблема практической пользы истории занимала Грановского всю жизнь, и он полемизировал по этому поводу с Гегелем на всем протяжении своей профессорской деятельности. Таким образом, в начале своего пребывания за границей Грановский, осознав значение философии для науки истории, принялся за философию, желая положить ее в основу своей исторической концепции, с ее помощью обобщить исторический материал.

Уже после поучений Григорьеву о пользе философии, после прочтения гегелевской философии истории и после того, как он прослушал ряд философских и философско-исторических курсов, он писал Станкевичу и Неверову 15 июля 1838 г.: «По приезде в

Москву я на несколько времени оставлю исключительное занятие историей — для поэзии и философии… Время, посвященное мною в Берлине философии, решительно потеряно. Я ничего порядочно не понял и даже хорошо не осмотрелся в науке… необходимость философии для меня я час от часу более и более чувствую… я должен извне усвоить себе внутреннее единство и согласие» (8, 358).

Годы, проведенные в Германии, не были потрачены только на исторические и философские науки. Грановский широко интересуется самыми различными отраслями культуры. Он часто бывает в театре, увлекается Шиллером, комической оперой, слушает музыку Моцарта, Вебера, Глюка.

Летом 1837 г. Грановский отправляется в путешествие. Он посещает Дрезден, пешком проходит по югу Германии. В Праге, интересуясь славянской историей и филологией, он знакомится с деятелем чешского и словацкого национально-освободительного движения Шафариком, другими славистами и до известной степени защищает их от иронических нападок Станкевича. Впрочем, он соглашается, что их «идеи неисполнимы и преувеличены», и утверждает, что «всемирное значение получили славяне только недавно, когда Россия вошла в Европу» (8, 333–334).

Глава II
ГОДЫ ПРОФЕССОРСТВА. ВРАГИ, БОРЬБА. ДРУЗЬЯ, СПОРЫ, РАЗНОГЛАСИЯ

рофессорская деятельность Грановского (1839–1855) протекала в сложное время истории Московского университета. С одной стороны, происходило усиление реакции. Новый университетский устав 1835 г. отнимал у университета некоторые привилегии и вольности, предоставленные ему уставом 1804 г. По новому уставу усиливался контроль правительственных чиновников над профессурой, преподаванием, публикациями, а тем более — над студентами, для чего была введена должность специального инспектора, подчиненного к тому же не университетскому начальству, а попечителю, надзиравшему над университетом непосредственно по поручению царя. Профессура подвергалась унизительной слежке, широко практиковались доносы, усиливалось давление церкви и высших ее пастырей, позволявших себе, подобно митрополиту Филарету в отношении Грановского, отчитывать профессоров за излишнее вольнолюбие и религиозный индифферентизм.

Реакция оказывала свое давление и через профессоров, проводников «официальной народности». К их числу можно отнести И. И. Давыдова, М. П. Погодина и С. П. Шевырева. Погодин примыкал в 20-х годах к московскому кружку любомудров и до начала 30-х годов был одним из русских пионеров диалектико-идеалистической философии истории, он читал курс русской истории. Хотя его чтения и содержали ряд положительных моментов (он знакомил студентов с русскими летописями, с методами критики источников и т. п.), но были они пронизаны охранительными политическими идеями. Он был одним из родоначальников реакционной теории русского панславизма.

С. П. Шевырев, читавший несколько курсов (общее введение в словесные науки, общую риторику, теорию и историю русской словесности, а с 1850 г. и педагогику), в молодости также примыкал к любомудрам. В первой половине 30-х годов издал

«Историю поэзии» и «Теорию поэзии». Книги эти имели положительное влияние на развитие отечественного литературоведения и эстетики. Но к концу 30-х — началу 40-х годов Шевырев полностью перешел на позиции официальной народности.

Эти профессора составляли ядро правого лагеря преподавателей университета. Они не только проводили реакционные идеи в своих лекциях и публикациях, но и активно боролись со стремлением молодой профессуры и студентов освоить передовые отечественные и западные идеи и учения, со всякой критикой существующей действительности, университетских порядков — со всяким проявлением социального, политического и научного прогресса.

С первых же лет преподавания в Москве Грановский оказался в состоянии острой конфронтации с этой профессурой, с университетским начальством и высшими светскими властями и духовными наставниками.

Однако среди коллег Грановского по Московскому университету было немало и настоящих передовых ученых. Прежде всего надо сказать о П. Н. Кудрявцеве, Д. Л. Крюкове, С. М. Соловьеве и О. М. Бодянском.

П. Н. Кудрявцев параллельно с Грановским читал курс всеобщей истории, обращая особое внимание на историю культуры, на связь истории различных народов (в частности, русского народа с соседними), сочетал изучение истории с нравственным воспитанием и общим образованием, подвергал критике русскую действительность. Он был знаком с петрашевцем Плещеевым.

В связи с делом петрашевцев и событиями на Западе за профессором в 1848 г. был установлен тайный полицейский надзор.

Д. Л. Крюков находился под воздействием идей Гегеля. Это способствовало формированию его взгляда на историю как на прогрессивный ход развития человечества. Он был сторонником единения всех народов, врагом шовинизма и национализма. В области методологии исторической науки Крюков отстаивал идеи единства исторического и философского подходов.

В эти годы (с 1845 г.) начал свою деятельность и крупнейший русский историк С. М. Соловьев, который сыграл огромную роль в развитии русской исторической науки и исторического образования.

Своеобразными были курсы истории и литературы славянских народов, которые с 1842 г. читал в университете О. М. Бодянский. Он знал несколько славянских языков, побывал в

Чехии, Боснии, Польше, изучал быт и языки славянских народов не только по книгам, но и по личным впечатлениям, что делало его курсы содержательными и привлекало студентов.

Из числа профессоров-гуманитариев следует в этой связи упомянуть также и П. Г. Редкина, читавшего философию права, ее историю, курс русских государственных законов. Он тоже находился под влиянием Гегеля, проводил в своих лекциях идею развития и взаимосвязи.

Разумеется, что развитие передовой русской мысли шло в университете не только на почве исторической науки. На естественных факультетах в значительно большей мере, чем на гуманитарных, происходило действительное развитие науки и ее преподавания, появлялись настоящие ученые, а студенты овладевали основами современной науки. Такими русскими учеными этого времени были профессор зоологии К. Ф. Рулье, высоко оцененный Герценом; А. А. Иовский, преподававший аналитическую и общую химию, фармакологию и другие медицинские науки; профессор физиологии А. М. Филомафитский; физик М. Ф. Спасский; медик Ф. И. Иноземцев и другие. Передовые естественники образовали единый фронт с передовыми гуманитариями- в отношении воспитания русского студенчества в духе гуманизма, преданности науке, ненависти к угнетению, социальному неравенству, крепостничеству.

Студенчество живо откликалось на все научные и политические события, особенно конца 40-х годов, времени западноевропейских революций, и начала 50 — х, когда Крымская война обнаружила военные, экономические, социальные слабости России. Студенты обсуждали политические вопросы со своими наставниками, как мы это знаем из биографий упомянутого уже Кудрявцева, Грановского и других.

Первый курс Грановского 1839/40 учебного года был посвящен истории западноевропейского средневековья. В дальнейшем он расширял тематику своих лекций и читал курсы истории Нового времени (до XVII в.), а впоследствии — и древнюю историю, включая Восток, и затрагивал проблемы первобытного общества.

Поначалу он чувствовал себя скованным, был недоволен своими лекциями, считая, что еще не он владеет материалом, а материал — им. Но вскоре благодаря упорному труду (он работал по 10 и более часов в сутки) он вполне овладел материалом, организовывая его согласно своей концепции истории человечества и своим взглядам на задачи и методологию исторической науки. Лекции его отличались глубиной и новизной содержания, связью с современными проблемами общественной

жизни, в том числе и русскими, пользовались огромным успехом у студентов. Впечатление от них оставалось на всю жизнь.

Круг слушателей Грановского не ограничивался студенческой аудиторией. 23 ноября 1843 г. Грановский начинает читать свой знаменитый публичный курс истории средних веков, который заканчивает в конце апреля 1844 г. Успех лекций был необыкновенным. На первую публичную лекцию пришло не меньше 200 человек, потом слушателей становилось все больше и больше, так что лектор с трудом пробивался к кафедре. Страстность, убежденная сила аргументации, художественная образность примеров, живые и яркие картины рассказа вместе с искренней душевностью в отношении к аудитории вызывали пристальное внимание и даже восторг слушателей. По замечанию П. Я. Чаадаева, лекции Грановского имели «историческое значение» как публичное утверждение прогрессивного воззрения на историю. Публичные лекции Грановского вызвали отклики в печати и доставили ему всероссийскую известность. Высоко оценил эти лекции А. И. Герцен.

И в последующие годы Грановский читал публичные лекции — «Сравнительная история Англии и Франции» (1845–1846), «Четыре исторических характеристики» (1851). В более узком кругу Грановский прочитал лекцию «Об Океании и ее жителях», напечатана она была лишь после его смерти.

Наряду с лекционной работой Грановский занимался и литературными трудами, но сравнительно мало. Собрание его сочинений, включающее изданные публичные лекции, программу курса и набросок учебника всеобщей истории, укладывается (по последнему изданию 1905 г.) в два тома общим объемом менее 800 страниц.

Грановский печатался мало, и некоторые авторы объясняли это тем, что-де, обладая талантом красноречия, Грановский не обладал литературным талантом, ленился обрабатывать свои лекции для печати. Чернышевский не соглашался с подобными мнениями, он считал, что Грановский сознательно жертвовал возможностью углубленной работы над специальными научными сочинениями во имя необходимости вести просветительскую пропаганду, более важную для тогдашней России (см. 86, 3, 349–353). Думается, что здесь играли роль и цензурные соображения. Он намеревался, например, издавать свои публичные курсы, выправил объемистый фолиант в 249 листов — запись курса 1843/44 г. по сравнительной истории Англии и Франции до XVII в. (см. 8, 422). Он знал, конечно, что и другие его университетские курсы древней, средней и новой истории не только записывались студентами, но и переписывались ими

начисто, так что для того, чтобы издать, ему нужно было лишь их обработать. Однако он этого не сделал. Если он не мог в лекции сказать всего того, что хотел бы, то напечатать он не мог и того, что говорил. Так, мы знаем, что в 1844 г.

С. Г. Строганов, попечитель Московского учебного округа, требовал, чтобы Грановский читал лекции в «православном» духе и изменил характер чтения разделов курса о Реформации и Великой французской революции. Грановский в связи с этим собирался подавать в отставку, сокрушался, что не может ни опубликовать, ни прочитать материалы по истории французской революции, собранные с большим трудом, тщательностью и интересом. «Вот каково наше положение, — жаловался Грановский матери своего ученика Б. Н. Чичерина, — я прочел 50 томов речей и документов, касающихся французской революции, а между тем знаю, что не только не придется написать об этом ни единой строки, но нельзя заикнуться об этом и на кафедре» (88, 42). В этих же воспоминаниях рассказывается, с какой симпатией излагал Грановский историю французской революции и освободительного движения после нее в частных уроках, которые он давал Б. Н. Чичерину. Авторитет Грановского в среде русской читающей публики был очень высок. Каждое печатное его выступление сразу же вызывало резонанс в журналистике.

Неудачей завершились попытки Грановского основать журнал. О своих планах он сообщал Станкевичу еще в феврале 1840 г.: «Мы собираемся (основатели: Корш, Редкин, Крюков и я) издавать ученый журнал… Распространение Humanitat — вот цель. Дрянной публике мы угождать не станем, педантические рассуждения о подробностях, не имеющих общего человеческого интереса, — вон» (8, 386). Но это начинание, как и замысел альманаха под редакцией И. В. Киреевского (см. 8, 401), практического выхода не получило. В 1844 г. дело сдвинулось: после долгих размышлений, не купить ли «Галатею» С. Е. Раича, «Русский вестник» С. Н. Глинки или «Библиотеку для чтения» О. И. Сенковского, решено было основать новый журнал — «Ежемесячное обозрение» под редакцией Е. Ф. Корша. В июне было подано прошение об издании журнала. Грановский даже наметил редакторов отделов, взяв себе исторический. Он же составил список иностранных журналов, за которыми члены редакции должны были следить (см. 25, л. 2). Интересно отметить, что среди этих журналов были и «Немецкие ежегодники» — орган левых гегельянцев, в котором принимали участие К. Маркс и Ф. Энгельс. Впрочем, Грановский, видимо, не знал, что к этому времени «Немецкие ежегодники» были уже запрещены (см. 62, 370; 430). С этим изданием он, вероятно,

ознакомился еще в Берлине. В «Ежемесячном обозрении» должны были принять участие А. И. Герцен, Н. П. Огарев. Однако это предприятие тоже не удалось, ибо, как сообщил в официальном отношении Грановскому граф С. Г. Строганов, через которого он обращался к царю, в ответ на ходатайство об издании журнала «Его величеству, в 12-й день сего декабря, не благоугодно было изъявить высочайшего на то соизволения» (см. 31). На прошении Николай I собственноручно начертал: «И без того довольно».

Еще осенью 1844 г. Грановский написал свою магистерскую диссертацию — «Волин, Иомсбург и Винета» и, несмотря на интриги реакционных профессоров И. И. Давыдова, С. П. Шевырева, защитил ее. Публичная защита вылилась в антиславянофильскую демонстрацию, закончившуюся победой Грановского.

«Третьего дни, — записал Герцен в своем дневнике 23 февраля 1845 г., — Грановский защищал свою диссертацию о Иомсбурге и Винете. Это было публичным и торжественным поражением славянофилов и публичной овацией Грановского» (47, 2, 406). Овация публики и студенчества была столь сильна, а антиславянофильские их выпады столь резки, что враги Грановского хотели истолковать их как бунт и жаловались на Грановского. В связи с этим Грановский перед лекцией 24 февраля произнес речь, в которой вновь выявились его антиславянофильские установки, чем вызвал новую бурную овацию.

В 50-Х годах он выполняет ряд официальных поручений, и эти документы, о которых мы уже упоминали, часто инкриминируются ему при обосновании «поправения» в эти годы. В 1850 г. Грановскому было поручено составить программу учебника по всеобщей истории «в русском духе и с русской точки зрения», как писал в своем отношении об этом тогдашний попечитель Московского учебного округа В. И. Назимов министру просвещения Ширинскому-Шихматому. Министр нашел программу годной и предложил Грановскому составить этот учебник. Грановский написал лишь начало его. Он составил официальную Записку «О ослаблении классического преподавания в гимназиях» (1851), записку к упомянутой выше программе.

В октябре 1842 г. Грановский женился на Е. Б. Мюльгаузен. Это был замечательный союз.

Елизавета Богдановна была дочерью доктора медицины Богдана Карловича Мюльгаузена. Высокая семнадцатилетняя девушка, блондинка, она была, по словам Герцена, «натурой даровитой и сильной» (47, 9, 125). Уехав в июне в Погорелец для

устройства имущественных дел, Тимофей Николаевич писал невесте: «Мое чувство вмещает в себя уважение, любовь, преданность, благодарность, обожание». Молодые сняли небольшую квартиру, потом поселились в доме тестя на Драчевке, а последние годы жизни провели в доме Фроловой в Малом Харитоньевском переулке. Очень скоро их дом приобрел притягательную силу и для друзей, и для студентов. Елизавета Богдановна была прекрасной хозяйкой, любила музыку и хорошо играла на рояле. Тимофей Николаевич прочитывал ей приготовленные лекции, она бывала на всех его публичных чтениях, переписывала его работы, первая читала его сочинения. Семейное счастье стало опорой Грановского на всю его жизнь. Он «чудно счастлив дома», — писал о семейной жизни Грановского Герцен Огареву. Когда в 1852 г. Елизавета Богдановна тяжело болела, Грановский писал К. Д. Кавелину: «Не будет ее — и я невозвратно погиб. Не чувствую в себе силы жить и работать без нее» (8, 452). Елизавета Богдановна пережила мужа всего на полтора года и умерла в апреле 1857 г.

Несмотря на болезнь, Грановский и в конце жизни был полон энергии и творческих планов. Он задумывает цикл статей по методологии исторического исследования, собирается читать новый публичный курс. В 1855 г. Москва торжественно праздновала столетие своего университета. В мае этого года Грановский был единогласно избран деканом историко-филологического факультета. Он много работал над лекциями, писал, обдумывал проект перемен на факультете.

4 октября 1855 г. Грановский скончался, 6 октября состоялись похороны. Студенты несли на плечах гроб от университета до Пятницкого кладбища (в районе теперешнего Рижского вокзала). Колонна провожавших растянулась более чем на километр. Университет прощался со своим любимым профессором, Москва — с просветителем и гражданином.

* * *

Теперь мы можем перейти к выяснению его взглядов по основным социально-политическим вопросам и его взаимоотношений с представителями названных направлений русской общественной мысли. С революционными демократами — Герценом, Огаревым, Белинским — у Грановского сложились теплые дружеские отношения. В высказываниях середины 40-х годов, как и в последующих, когда Герцен уже после смерти Грановского характеризовал его роль и значение для истории

русской общественной мысли, он высоко оценил его лекционную деятельность, т. е. его идеи в области истории и философии истории именно этого периода. Отмечая, что «ближайший друг Станкевича… Грановский был нашим с самого приезда из Германии» (47, 9, 40), Герцен, несомненно преувеличивая роль Грановского и несколько преуменьшая свою и Белинского, отметил ведущую роль Грановского в передовой русской общественной мысли первой половины — середины 40-х годов. Со своей стороны Грановский неоднократно выражал свое единомыслие с Герценом, высоко оценивал его сочинения. Однако все эти взаимные симпатии не означали, что между друзьями уже в первой половине 40-х годов не было разногласий. Они спорили о потусторонности (Jenseits) [3], т. е. о проблеме отношения духа и тела, о возможности жизни духа в потустороннем мире. Излагая свою точку зрения, которая позже приведет к обострению их споров и отношений, Огарев писал в 1845 г.: «Мы все не логические, а физиологические явления… Скорбь об утрате близких (которой мотивировал Грановский необходимость для себя веры в „Jenseits“. — *З. К.)* должна остаться скорбью, скорбью всей жизни; от этого-то я и ненавижу утешения посредством Jenseits. Они мешают скорби, они облегчают чувство утраты, они трусость перед страданием» (71, 357).

Белинский и Грановский подружились после приезда Грановского из Берлина в Москву, хотя Грановский сразу же осудил идеи Белинского о «примирении с действительностью», но их симпатии особенно укрепились после «протрезвления» Белинского от угара «примирения с действительностью», когда он сам признал правоту Грановского. Белинский писал В. П. Боткину 31 октября 1840 г.: «…я, право, так люблю его (Грановского. — *З. К.),* так часто думаю о нем, особенно в последнее время, когда я в некоторых пунктах наших московских с ним споров так изменился, что при свидании ему нужно будет не подстрекать, а останавливать меня» (41, *11*, 567. Ср. 41, *11,* 705). «…Люблю и уважаю этого человека и дорожу его о себе мнением» (41, 72, 29). Белинский просит Грановского писать в его журнал, просит Герцена прислать лекции Грановского для публикации в «Отечественных записках».

Вместе с тем Белинский менее восторженно, чем Герцен, и даже критично отнесся к публичным чтениям Грановского 1843/44 г. «По моему мнению, — писал он Герцену, — стыдно хвалить то, чего не имеешь права ругать: вот отчего мне не понравились твои статьи о лекциях Гр[ановско]го» (41, *12*, 250). Тут, правда, не совсем ясно, что же именно хотел бы «ругать»

Белинский в лекциях Грановского, неясны мотивы его недовольства. Но можно предполагать, что они стоят в связи с «романтизмом» Грановского, с его умеренностью и «идеальностью», которыми, по воспоминаниям К. Д. Кавелина, Белинский был недоволен. Еще раньше, в 1842 г., в спорах с Белинским о Робеспьере (в которых Герцен был на стороне Белинского), Грановский отстаивал веру в личное бессмертие, тяготел к религиозности. В целом можно сказать, что Белинский при всей своей любви и уважении к Грановскому относился к нему более критически, чем Герцен.

Грановский посетил умирающего Белинского и, сообщая о его смерти жене, писал, что, по словам домашних, Белинский в последние дни в бреду все звал Грановского. Увидев его, он сказал: «Прощай, брат Грановский, умираю». Приняв участие в похоронах Белинского и сборе денег для оставшейся без средств семьи, Грановский, по некоторым данным, увез с собой авторскую копию письма Белинского к Гоголю и распространял его в московском обществе и среди своих студентов.

Таким образом, между Грановским, с одной стороны, Белинским, Герценом и Огаревым — с другой, уже в первой половине 40-х годов установились сложные отношения. Друзей сплачивало единство по ряду вопросов — общие идеи в философии истории, отношение к русской действительности и требование ее преобразования, общность борьбы со славянофилами и официальной народностью и т. п. Но обнаружились и серьезные теоретические разногласия.

Они обострились летом 1846 г. во время дискуссий на подмосковной даче в Соколове. С этого времени, писал Герцен, они надолго расходились с Грановским в теоретических убеждениях (см. 47, 2, 249). Если Герцен, Огарев, Белинский пришли к материализму и атеизму, то Грановский продолжал держаться идеалистического «романтизма» и, сохраняя личные религиозные убеждения о бессмертии души, о противоположности души и тела, отвечал Герцену на его материалистические и атеистические высказывания, заявляя: «…я никогда не приму вашей сухой, холодной мысли единства тела и духа; с ней исчезает бессмертие души…Я слишком много схоронил, чтоб поступиться этой верой. Личное бессмертие мне необходимо». В ответ на эту сентенцию Герцен сказал: «Славно было бы жить на свете… если бы все то, что кому-нибудь надобно, сейчас и было бы тут как тут, на манер сказок. — Подумай, Грановский, — прибавил Огарев, — ведь это — своего рода бегство от несчастия» (47, 9, 209).

В полемике с Грановским Герцен и Огарев доказывали идею

единства исторических и естественных наук, подчеркивая особенно значение последних. Грановский, который еще в первом своем курсе (1839/40 уч. г.) и в 40-х годах сам отстаивал идею связи науки истории с естествознанием, воспринимал это доказательство как попытку принизить специфику исторического знания, его ценность как такового. Возражая друзьям, Грановский писал Огареву (январь 1848 г.): «Да, история великая наука, и, что бы вы ни говорили о естественных науках, они никогда не дадут человеку той нравственной силы, которую она дает» (87 449). Спорили о герценовских «Письмах об изучении природы», о Jenseits и Diesseits (посюсторонность. — См. 72, 121), и обсуждение всех этих вопросов обнаруживало теоретические разногласия. Передовая молодежь сразу обратила внимание на разногласия — и встала на сторону Герцена. «Прежде, чем мы сами привели в ясность наш теоретический раздор, — вспоминал Герцен, — его заметило новое поколение, которое стояло несравненно ближе к моему воззрению. Молодежь… сильно читала мои статьи о „Дилетантизме в науке“ и „Письма об изучении природы“… университетская молодежь, со всем нетерпением и пылом юности преданная вновь открывшемуся перед ними свету реализма, с его здоровым румянцем, разглядела, как я сказал, в чем мы расходились с Грановским. Страстно любя его, они начали восставать против его „романтизма“. Они хотели непременно, чтоб я склонил его на нашу сторону, считая Белинского и меня представителями их философских мнений» (47, 72, 204; 206–207).

И отчасти Герцену это удалось. В годы, когда происходили эти теоретические дискуссии, Грановский напряженно работал над огромным историческим материалом и пристально изучал революционный опыт Западной Европы, особенно революций 1789 и 1848 годов. Это помогло Грановскому сблизиться с Герценом, хотя к единству они не пришли. Однако это повлияло на его социально-политические взгляды — отношение к народу, к революции, к будущему человечества и России. Вот что он писал Герцену в 1849 г.: «От прежнего романтизма… я отделался. [18]46 год прошел для меня мучительнее, чем для вас, но я вышел из него здоров. Слава богу. А внутренняя связь с тобою и Огаревым еще укрепилась. Если бы нам пришлось встретиться, мы, вероятно, не разошлись бы более в понятиях. Для нас обоих прошло, кажется, время опытов, догадок и чаяний — пора знать досконально и не бояться узнанного» (12, 94). Эта фраза звучит прямо как признание правоты Огарева в том его замечании о «бегстве от несчастья», которое мы только что привели по воспоминаниям Герцена в «Былом и думах».

Насколько существенно было влияние Герцена и Огарева на Грановского, видно также и из того, что многие идеи, которые сам Грановский позже пропагандировал в своих курсах, вполне созвучны идеям Герцена. Подчеркивая идею самобытности наций, Герцен пишет: «Чем больше, Грановский, ты взойдешь в физиологию истории, в naturwissenschaftliche Behandlung (естественнонаучное объяснение. — З. *К.*) ее, тем яснее сделается для тебя, что история только и отделяется от природы развитием сознания… каждый народ представляет результат… всякой всячины, условий климатологических и иных» (47, 23, 184). Мы увидим, что именно с курса 1849/50 учебного года Грановский особенно настоятельно проводит идею зависимости истории от географических, антропологических и иных материальных факторов, все более входит в то, к чему его ведет Герцен, — в «физиологию истории». Как ни важны эти письма и признания с их резкими, определенными суждениями, не следует, однако, преувеличивать степень воздействия Герцена на Грановского.

Они показывают лишь, что Герцен и Огарев содействовали тому, что в конце 40-х годов в мировоззрении Грановского обнаруживаются некоторые новые тенденции, но не более того. Ибо если Грановский и писал Герцену, что от былого его романтизма не осталось и следа, что они не разошлись бы более в понятиях, то это, конечно, сильное преувеличение. Анализ мировоззрения Грановского конца 40-х — начала 50-х годов покажет нам, что, как ни эволюционировали взгляды Грановского в ту сторону, в которую вел его Герцен, он не стал, как Герцен, материалистом в философии. Он не стал ни утопическим социалистом, ни революционным демократом, ни атеистом. Да и переписка двух друзей, как и их письма к третьим лицам, показывает, что единомыслия в вопросах общефилософских они не достигли.

Социально-политические воззрения Грановского подробно изучены в нашей литературе. Мы лишь вкратце охарактеризуем их, чтобы понять его взаимоотношения как с левым, так и с правым крылом русской общественной мысли 40—50-х годов. Противоречивость социально-политических воззрений Грановского была противоречивостью русского Просвещения в целом, и особенно в период его кризиса. Но это была и субъективно осознаваемая противоречивость ученого, обуреваемого сомнениями, разноречивыми побуждениями и соображениями, ученого, находящегося в состоянии духовного кризиса.

В чем состоял этот кризис и каков был характер того комплекса идей Грановского, который принято называть

социально-политическими убеждениями, мы выясним, рассмотрев, как решал Грановский центральные проблемы этой области — отношение к народу, к революции, к русской крепостнической действительности и официальной идеологии, к проблеме будущего человечества и России.

Начнем с его отношения к народу. Основная двойственность этого отношения состояла в следующем. Констатируя расслоение народа на социальные группы, факт эксплуатации, факт борьбы угнетенных с угнетателями, Грановский становился на сторону первых, осуждая угнетателей. Он категорически заявлял о необходимости освобождения народа и превращения угнетенных в равноправных во всех отношениях граждан общества. С другой стороны, однако, народ сам по себе представлялся ему неразумной массой, действующей слепо, а потому страшной в своих самостоятельных действиях. Эти представления не являлись следствием какой-либо антипатии, аристократического пренебрежения к народной массе. Отнюдь нет! Такой взгляд опирался на исторические наблюдения того, что в условиях рабовладельчества и феодализма народные массы угнетены и что их непросвещенностью пользуются их хозяева. Поэтому, полагал Грановский, движение историй как прогресс по пути достижения справедливости должно осуществляться не самостоятельными действиями народа, а путем его просвещения, хотя ему и понятны мотивы народных действий и он вполне оправдывает их. В лекциях Грановский часто обращается к теме народа и народных движений в античности и средневековье.

Грановский был противником крепостного права, и не только как некоторой формы феодальных отношений, но и как конкретного состояния русского крестьянина (ср. 36, 135). Мы уже отмечали, что еще за границей он резко осудил мнение о том, что русским крепостным живется хорошо и что они «не чувствуют никакого желания другой участи». Вернувшись в Москву из Берлина, он расходился во мнении с теми, кто оправдывал русскую действительность (см. 8, 411; 363–365; 383).

Отчетливо видны его симпатии к пролетариату. Пристально следя за ходом революции 1848 г. во Франции, он называл «нашими» восставших парижских рабочих и ремесленников, а «угнетателями», врагами — буржуазию. 11 июля 1848 г. Грановский писал Е. Б. Чичериной: «Всякие события на Западе отзываются на нас разно. Если они хороши — мы радуемся, если у наших — поражение, мы и весь наш круг впадает в уныние. Последние события как раз не хороши, и я впал в уныние. Опять там восторжествовала картечь, угнетатели ликуют. Они думают вернуть рабочих и пролетариат в прежнее рабство. Буржуазия

опять собирает силы, но угнетенные не спят. Они покрыли Париж баррикадами, и это было в полном смысле классовое восстание пролетариев…

Вторая республика была похоронена, и над ней склонились красные знамена. Верите ли, руки у меня опустились. Надежды на все рухнули. Мне тяжело, я не нахожу себе места» (10, 53)[4]. Даже биограф Грановского из числа либералов, А. В. Станкевич, пытавшийся и Грановского представить либералом, за что был подвергнут резкой критике Огаревым, Герценом, Салтыковым-Щедриным, вынужден был признать, что Грановский чрезвычайно интересовался ролью пролетариата в жизни и в социальных движениях Западной Европы XIX в., надеялся, что пролетариат в революции 1848 г. будет способствовать обновлению европейской жизни и что в революции 1848 г. «справедливость, требование истории… на стороне побежденных» (82, 217). Казалось, что Грановский готов к переходу на позиции революционного демократизма, что он на стороне не только русского крепостного, но и французского пролетариата. Но тут-то и выявляется противоречивость его социально-политической позиции: желая освобождения народных масс, улучшения условий их материальной и духовной жизни, он в то же время боялся, не понимал их. Это отчетливо видно по воспоминаниям о Т. Н. Грановском, написанным А. А. Северцевым, сперва слушателем, а затем знакомым московского профессора. Северцев, как видно из его мемуаров, входил в 1849–1850 годах в число тех студентов Московского университета, которые были проникнуты, по его словам, «красными убеждениями». Этой группе студентов лекции Грановского казались недостаточно политически заостренными, актуальными. Северцев написал возражения на лекции Грановского и ознакомил профессора с ними. «По поводу моей статейки, — вспоминал Северцев, имея в виду свои возражения, — он говорил мне, что отличительная черта новой истории есть стремление народных масс к полному и разумному участию в умственном и политическом движении» (29, л. 102). Но, признавая законность этих стремлений, Грановский не видел, как может такое участие осуществиться. Он боялся того, что движение масс разрушит цивилизацию, в то же время задумывался над тем, как избежать этой катастрофы, как сделать возможным участие масс в общественном прогрессе.

Грановский говорил Северцеву, «что как вторжение варваров сгубило древнюю цивилизацию»[5], так сгубит нашу победа пролетариев, но что она неминуема, потому что на их стороне справедливость и более свежие нравственные силы. Это убеждение его смущало, оно как будто рождало борьбу в нем. Для

него развитие просвещения казалось не роскошью, а глубокой целью жизни человечества; но также правы были и права равенства, права пролетариев; и обманывать себя надеждой на примирение того, что он считал несовместимым, было не в его натуре. Я выразил надежду, что по мере своего развития наука упростится и сделается доступна массе; следовательно, пролетарии просветятся без погибели теперешней образованности. Он отвечал, что у них нет на то досуга; что в первый раз во всей истории они выступили в такой силе (речь идет о революции 1848 г. — *З. К.*), так единодушно и с такой определенной программой[6]. Эта задача не решается картечью, говорил он, намекая на недавнее торжество консервативной партии. Теперь же не до нашей утонченной образованности, прибавил он. Она аристократическая, требует досуга; чтобы разработать науку, надо посвятить ей всю жизнь, следовательно, жить чужими трудами: более и более эта жизнь становится невозможною. Дело идет о праве всякого забитого и одурелого от работы иметь возможность развить умственные способности не менее нас с вами: если теперешние приемы науки не дозволяют этого, теперешняя образованность не сможет жить (29, 102–102 об.). Может быть, не все мысли Грановского записаны Северцевым точно. Но сам дух их, их противоречивость, выражающаяся, с одной стороны, в стремлении защитить интересы народных масс, в признании их прав и, с другой стороны, в непонимании путей реализации этой программы, принципов построения нового, справедливого общества, проявляются отчетливо. Подобно декабристам, просветитель Грановский все-таки был «страшно далек от народа».

Непоследовательно было отношение Грановского к революции. Теоретически он как историк и сторонник диалектического понимания развития не мог не признавать закономерности революционного способа общественных преобразований, хотя и считал, что для революции нужна соответствующая историческая, протекающая эволюционно подготовка. Такая позиция часто бывала основанием для отрицания целесообразности революционных действий. Однако Грановский признавал исторически оправданным и революционный переход от рабовладельчества к средневековью и от феодализма — к новой эпохе жизни человечества, совершившийся во время французской революции конца XVIII в. Он приветствовал и революцию 1848 г. во Франции.

Существует мнение, что Грановский сильно «поправел» в 50-х годах и его отношение к революции изменилось, что, принимая и одобряя ее в конце 40-х годов, он осуждал ее в 50-х. Впрочем,

высказывалось и противоположное суждение — что он «полевел», стал «ближе к революционному лагерю», «разочаровался в части своих прежних иллюзий о спасительной силе и справедливости буржуазной демократии…» (34, 6; 7). Думается, однако, что эти суждения односторонни и каждое верно лишь отчасти. В 50-х годах он высказывался противоречиво, и можно согласиться с М. А. Алпатовым, что «переплетение тенденций — демократической и либеральной — составляет характерную черту всего облика Грановского» (33, 425. Ср. 35, 12. 38, 12–13. 68, 167).

Может быть, в 50-х годах он изверился, впал в пессимизм, устал от борьбы с консерваторами и даже пошел на какое-то примирение с университетским начальством, обдумывал вопрос об отставке, хотя и предпочел ждать («пусть выгоняют сами»).

Но слишком определенные суждения о «поправении» Грановского в конце жизни и о том, что он в это время осуждал революцию, не учитывают в достаточной мере его общетеоретических и собственно исторических идей; и в 50-х годах он остается верен своей прежней теории, своим принципам и идеалам. Односторонние суждения придают слишком большое значение официальным документам (см. 33, 446–447), которые Грановский писал по поручению начальства и для начальства. Перед нами скорее не эволюция к консерватизму, а все те же колебания, неуверенность, противоречивость, усталость от борьбы, поиск компромисса, который дал бы возможность продолжать профессорскую деятельность, нормальную жизнь, словом, перед нами духовный кризис.

К проблеме революций в истории Грановский относился с напряженным вниманием. В университетских курсах он намеренно выявлял, как народные массы революционным путем противостояли эксплуатации рабовладельцев и феодалов, он говорил о восстании в Нормандии X в., о восстании саксов в IX в., против Генриха IV, о Жакерии, о гуситских войнах, о «борьбе горожан против феодалов» (см. 37, 123–124), рассматривал «нидерландскую революцию прежде всего как национально-освободительное движение…» (37, 139). Он не побоялся в крепостнической России рекомендовать студентам книгу передового немецкого историка В. Циммермана о крестьянской войне в Германии.

Грановский проявлял чрезвычайный интерес к Великой французской революции и, по рассказу А. Северцева, давал ему читать запрещенную книгу Ж. Мишле по ее истории, несмотря на то что за отзыв о ней в частном письме незадолго перед тем посадили в Петропавловскую крепость князя А. Оболенского (см. 29, 103 об.). Грановский прочитал 50 томов речей и документов о

французской революции (см. 88, 42) и приветствовал революцию 1848 г. во Франции. Как видно из известного нам письма к Чичериной, он стоял на стороне революционных парижских пролетариев и осуждал французских буржуа. Северцев вспоминает, что в упомянутых возражениях на лекции Грановского он доказывал, что абсолютизм и средневековье — одно и то же, что абсолютизм обречен и должен перейти в новый порядок — в республику. Грановский, прочтя возражения своего слушателя, пригласил Северцева к себе и сказал ему: «Мы с Вами в сущности согласны. Вольно же Вам было не обратить внимание на довольно ясные намеки, мною высказанные; но я иногда не могу говорить так полно и определительно, как желал бы. Поневоле прибегаешь к намекам… Он сказал несколько слов о том, что мы действительно на рубеже древней и новой истории» (29, л. 102). Чичерин вспоминал, что известие о бегстве французского короля и установлении республики 1848 г. Грановский «приветствовал… как новый шаг на пути свободы и равенства» (88, 74).

Ряд других документов отчасти того же, отчасти несколько более позднего времени представляют отношение Грановского к революции как более консервативное. Так, еще в 40-х годах в спорах о М. М. И. Робеспьере он склонялся к защите консервативных жирондистов, в то время как Герцен и Белинский были на стороне радикального Робеспьера. В начале 50-х годов Грановский в своем отношении к буржуазии во многом расходился с Герценом. Вместе с В. П. Боткиным и Е. Ф. Коршем он отрицательно отнесся к резкой критике, которой подверг Герцен французскую буржуазию в своих письмах с Avenue Marigny.

Здесь, правда, надо отметить, что Герцен под влиянием тех разочарований, которые принесло ему непосредственное наблюдение западноевропейской действительности и революции (он уехал из России в январе 1847 г. и наблюдал, революцию воочию), в названных письмах отрицал революционность буржуазии не только в настоящем и будущем, но и в прошлом. С такой позицией не был солидарен и Белинский, который считал нужным выделить в буржуазии различные слои и которому вообще вопрос о буржуазии казался в то время еще неясным: «… вопрос о bourgeoisie — еще вопрос, и никто пока не решил его окончательно, да и никто не решит — решит его история…» (41, 72, 447. Ср. 79, 37). Грановский критически отнесся к «внеисторическому пониманию буржуазии, проявленному Герценом», был недоволен некоторой поверхностностью его суждений (см. 79, 42). Критически отнесся Грановский и к

брошюре Герцена «О развитии революционных идей в России», правда, по мотивам тактическим, а не принципиальным (см. 87, 88–89). Но все это, вместе взятое, действительно создавало некоторый консервативный фон в позиции Грановского конца 40-х — начала 50-х годов относительно революции и буржуазии в плане социально-политическом.

Какая же будущность для угнетенных, в особенности для русского народа, виделась Грановскому? Приходится признать, что более или менее конкретного представления у него по этому поводу не было. Он, по-видимому, склонялся к идеалу буржуазной республики. Что же касается теоретического идеала будущего общества, то Грановский формулировал его так: «Нравственно-просвещенная, независимая от роковых определений личность и сообразное требованиям такой личности общество» (3, 445). Весьма значительная как положение философии истории, эта формула мало что давала как идея социально-политическая, как программа преобразовательной деятельности. Сторонник республики, Грановский желал свободы и равенства. «Для Грановского, — вспоминал Чичерин, — свобода была целью человеческого развития… Он радостно приветствовал всякий успех в истории и в современной жизни; он всей душой желал расширения ее в отечестве… Развитие абсолютизма, устанавливающего государственный порядок, было в его глазах таким же великим и плодотворным историческим явлением, как и водворение свободных учреждений…

Но сердечное его сочувствие было все-таки на стороне свободы и всего того, что способно было поднять и облагородить человеческую личность. С этой точки зрения он сочувствовал и первым проявлениям социализма… Вполне признавая несостоятельность тех планов, которые социалисты предлагали для обновления человечества, Грановский не мог не относиться сочувственно к основной их цели, к уменьшению страданий человечества, к установлению братских отношений между людьми» (88, 43–44). Однако эти свободолюбивые идеи не могли составить сколько-нибудь определенных контуров будущего русского общества, да и вообще человечества. Эту неопределенность ожиданий Грановского констатирует Северцев. «Все, чем жили до сих пор в истории, — говорил профессор, — права, верования, понятия, все уже отжило. Готовится что-то новое; на всех опорах существующего порядка — печать мертвенности или лжи» (29, л. 103). Но чем же будет это «что-то», Грановский более или менее конкретно так и не определил.

Стоит ли удивляться тому, что такая неопределенность относительно будущего, да и относительно остальных социально-

политических вопросов, сопровождаемая постоянными неурядицами в университете и жесткими стеснениями в преподавании, повергала Грановского в духовный кризис, доводила до пессимизма. «Сердце беднеет, верования и надежды уходят. Подчас глубоко завидую Белинскому, вовремя ушедшему отсюда. Скучно жить, Фролов!» — писал он 1 августа 1848 г. (8,425). Почти это же он повторил и Герцену через год. В письме к М. Ф. Корш (1849) он называл свое существование «погибшим», а в конце года писал тому же адресату: «Если бы Вы знали, какая безвыходная, бездонная хандра стала навещать меня. Впереди все так пусто и темно; в настоящем так бесцветно» (8, 320; 321). В письме к Я. М. Неверову (28 декабря 1849 г.) он писал: «Тяжело, брат! Близкие ушли, кто совсем, а кто далеко. Кругом пустота…» (11, 752–753).

Но раз так, раз старое рушится, а будущее неясно, то что же остается делать честному русскому человеку? И в размышлениях по этому поводу Грановский преодолевает свой пессимизм: о старом жалеть нечего, он любит вспоминать четверостишие И. В. Гёте, которое сложилось у него по-русски так:

Приди и сядь со мной за пир,
Пустое горе позабудем!
Гниет как рыба старый мир,
Его мы впрок солить не будем

(82, 219).

«Что же дальше? — спрашивает Грановский. — Будем делать пока наше маленькое дело, а там, что будет» (11, 753).

Оставался один путь — путь вовсе не таких уж «маленьких» профессиональных действий в предлагаемых обстоятельствах, путь просветительской деятельности. Надо было сохранять и нести Прометеев огонь в надежде, что будущие поколения смогут понять лучше и настоящее, и будущее. Грановский находит форму такой деятельности просветителя — рассказывать людям их прошлое, «учить историей». Такова была основа того истинного патриотизма, который вполне можно считать составной частью социально-политических воззрений Грановского. Этот идущий от Радищева и декабристов, Чаадаева, любомудров и Станкевича истинный патриотизм отличался от ложного, от «квасного» по крайней мере двумя чертами: он был связан с критикой пороков русской действительности и с действиями, которые были направлены на их искоренение.

Общественное служение Грановского проявлялось и в его внимании к развитию отечественной науки, и в самой критике

русской действительности, имевшей целью указать пороки общества для их исправления. Но более всего чувство общественного служения проявлялось в его профессорской деятельности. Он понимал, что «настоящая деятельность возможна человеку только на родной почве» (8, 419). Нельзя не согласиться с Н. Г. Чернышевским, который видел в этом высшее проявление патриотизма московского профессора. «Грановский, — писал Чернышевский, — понимал это (просветительную миссию русского ученого. — *З. К.)* и служил не личной своей ученой славе, а обществу. Этим объясняется весь характер его деятельности» (86, 3, 350). «…Он был истинный сын своей родины, — говорит Чернышевский, — служивший потребностям ее, а не себе» (86, 3, 353).

Возникает вопрос: почему же при всех разногласиях и в общефилософской, и в социально-политической области Грановский все-таки был другом передовых русских людей, почему так высоко они о нем отзывались? На этот вопрос мы сможем ответить тогда, когда поймем, в чем же состоял главный подвиг Грановского, каков его вклад в русскую науку, образованность и какое значение это имело также и в социально-политической жизни России. Сейчас же в общем виде мы можем лишь повторить то, что уже сказали выше: Грановский был сторонником Просвещения, а русское Просвещение того времени выступало по ряду вопросов единым фронтом с революционным демократизмом. Помимо разногласий было и единство и в теоретических (главным образом в области философии истории), и в социально-политических (в отношении к русскому дворянству, государству, официальной церкви и идеологии, русским консерваторам) вопросах.

Грановский резко отрицательно относился к дворянству. И тут, может быть, важно подчеркнуть, что приводимые ниже его высказывания по этому поводу выпадают на последний год жизни, что опровергает отмеченные выше мнения о «поправении» Грановского к этому времени. Подобно своим предшественникам — русским просветителям 20—30-х годов (В. Ф. Одоевскому, Д. В. Веневитинову, Н. В. Станкевичу, А. И. Галичу), но с гораздо большим пониманием и остротой, похожей на чаадаевский пафос обличения, он возмущался распадением нравственной структуры этого класса, потерей им истинного патриотизма. Наблюдая выборы в ополчение в Воронежской губернии, он писал: «Трудно себе представить что-нибудь более отвратительное и печальное. Я не признавал большого патриотизма и благородства в русском дворянстве, но то, что я слышал в Воронеже, далеко превзошло все мои предположения. Богатые или достаточные дворяне без

зазрения совести откупались от выборов… и… такая тупость, такое отсутствие понятий о чести и о правде… В других губерниях средней и южной России дело шло не лучше» (8, 454). Не лучше и дворянство «второй столицы». Тонко понимая и резко критикуя ограниченность либерализма славянофилов Ю. Ф. Самарина, И. С. Аксакова и других, он писал из Москвы: «Вообще здешнее высшее общество боится, чтобы новый Царь не был слишком добр и не распустил нас. Общество притеснительнее правительства» (8, 455). А через несколько дней он писал, имея в виду славянофильский либерализм: «Московское общество страшно восстает против правительства, обвиняет его во всех неудачах и притом обнаруживает, что стоит несравненно ниже правительства по пониманию вещей» (8, 456). Осуждая дворянство, Грановский вовсе не одобрял политики правительства. Это видно, например, из его отношения к записке Б. Н. Чичерина «Восточный вопрос с русской точки зрения», где внутренняя и внешняя политика, которую осуждали и консерваторы-славянофилы, была подвергнута резкой критике [7]. Это видно также и из писем Грановского конца 40-х и 50-х годов, в особенности из тех, которые посылались оказией, без боязни перлюстрации, как, например, письмо к Герцену из Москвы (июнь 1849 г.), в котором Грановский считал возможным «сказать несколько слов, не опасаясь почтовой цензуры». Критикуя реакционные мероприятия правительства, он заявлял: «Деспотизм громко говорит, что он не может ужиться с просвещением» (13, 359).

Он отвергал требование С. Г. Строганова читать лекции в «охранительном духе». Строганов говорил, что «им нужна любовь к существующему, короче, он требовал от меня апологий и оправданий в виде лекций» (8, 462). Он критиковал реакционную профессуру (С. П. Шевырева, М. П. Погодина). Его давила тяжелая, удушливая атмосфера официальной ученой, дворянской и чиновничьей среды, о чем он постоянно пишет в письмах к друзьям. Но главным способом критики Грановским русской действительности, крепостничества, абсолютизма были исторические аналогии. Именно эту форму лекций ставил ему в заслугу Герцен, который скажет уже много лет спустя после смерти друга, что сила Грановского была в постоянном, глубоком протесте против существующего порядка в России, что в Москве кафедра Грановского выросла в трибуну общественного протеста.

Разумеется, умонастроение Грановского было известно в правительственных кругах и вызывало ответную реакцию. Тучи над Грановским сгущались, его радикализм конца 40-х годов видели не только реакционные профессора и славянофилы, но

и… III отделение. За Грановским был установлен надзор, он знал и сообщал об этом Герцену. Подозрительность правительства к Грановскому усилилась ввиду того, что в письме петрашевца А. Н. Плещеева о нем говорилось как об оппозиционном профессоре. В этой связи возникла целая переписка между следственной комиссией по делу петрашевцев и шефом московской жандармерии графом А. А. Закревским. Не поладил Грановский и с пастырем московской церкви — «лукавым Филаретом», которому донесли о безбожии, содержащемся в лекциях Грановского. Именно в связи с вызовом к Филарету, который упрекал Грановского во вредном влиянии на юношество, Грановский жаловался на тяжелую обстановку в университете.

Особо следует остановиться на отношении Грановского к славянофильству. Мы видели, что еще за границей, встретившись с чешскими славистами, Грановский высказал такие суждения об их идеях, которые исключали симпатии к русским славянофилам. И действительно, приехав в Москву, он становится их убежденным противником, критикует их идеи в университетских и публичных лекциях, письмах, статьях, беседах. Славянофилы в свою очередь тоже распознали в Грановском своего идейного противника, хотя с некоторыми из славянофилов, в особенности с И. В. Киреевским, у Грановского складываются личные дружественные отношения, которые он оберегал от излишней, по его мнению, непримиримости Бакунина. Грановский полагал, что идейные расхождения могут при известных условиях и не исключать личных симпатий и даже уважения. Бакунин же думал, что если «у людей другие мнения», то следует «расстаться с ними» (8, 381).

В письме к Н. В. Станкевичу Грановский излагал основные положения зарождающейся славянофильской школы: «Ты не можешь себе вообразить, какая у этих людей философия. Главные их положения: Запад сгнил и от него уже не может быть ничего; русская история испорчена Петром I, — мы оторваны насильственно от родного исторического основания и живем наудачу; единственная выгода нашей современной жизни состоит в возможности беспристрастно наблюдать чужую историю; это даже наше назначение в будущем; вся мудрость человеческая истощена в творении св. отцов греческой церкви, писавших после отделения от западной. Их нужно только изучать: дополнять нечего; все сказано. Гегеля упрекают в неуважении к фактам… Досадно то, что они портят студентов… Славянский патриотизм здесь теперь ужасно господствует: я с кафедры восстаю против него, разумеется не выходя из пределов моего предмета. За что меня упрекают в пристрастии к немцам. Дело идет не о немцах, а

о Петре, которого здесь не понимают и не благодарны к нему» (8, 369–370). В этом же тоне он аттестует отдельных славянофилов и их идеи.

В дальнейшем критика славянофильства обострилась особенно в связи с публичным курсом Грановского 1843–1844 гг., который он использовал для скрытой полемики со славянофильскими воззрениями. Если, по словам Грановского, А. С. Хомяков собирался выступать даже против его университетских лекций, то можно себе представить, как реагировали его противники на публичный курс. Грановский, понимая, что «источник вражды — в противуположности мнений», собирался «полемизировать, ругаться и оскорблять» и даже постараться «оправдать и заслужить вражду моих врагов» (8, 459). Он видел непримиримость славянофилов. «Остервенение славян возрастает с каждым днем», — писал он Кетчеру 14 декабря 1843 г. (8, 462. Ср. 47, 2, 319–320).

Шевырев, сочувствующий славянофилам, критиковал публичные лекции Грановского за пристрастие к гегелевским идеям. В противовес лекциям Грановского он объявил свой курс истории русской литературы. Правда, на обеде в честь Грановского в связи с окончанием его публичного курса произошло временное примирение западников и славянофилов. Некоторые славянофилы положительно отозвались о курсе Грановского, а И. Киреевский просил его прислать студенческие записи публичного курса. Грановский даже собирался принять участие в «Москвитянине», хотя в вежливой форме отказался от того, чтобы его фамилия была объявлена в числе сотрудников журнала. Однако это примирение кончилось скандалом, злыми стихами Н. М. Языкова. Едва была предотвращена дуэль между Грановским и П.В. Киреевским, произошел окончательный разрыв со славянофилами.

В дальнейшем Грановский вел прямую и резкую полемику с Хомяковым (1847) и со славянофильским учением вообще. Он писал специальную работу, критикующую славянофильство (см. 35, 7), подверг критике один из устоев славянофильского учения — идею исключительности русской общины. В тоне положительного научного изложения почти без всякой полемики Грановский в статье «О родовом быте у германцев» (1855) показывал единообразие русской и германской общин, обещая доказать то же и относительно кельтской. В этом вопросе он стоял на уровне современной ему науки и уже знал ранние работы Г. Л. Маурера, на которые впоследствии ссылались и которые так высоко оценивали К. Маркс (см. 1, 32, 43) и Ф. Энгельс (см. 1, *21*, 96–97).

Русская журналистика сразу же поняла антиславянофильскую направленность статьи Грановского. «Отечественные записки» и «Библиотека для чтения» откликнулись похвальными отзывами (хотя с некоторыми критическими замечаниями), «Москвитянин» поместил полемическую статью за подписью «С». Высоко оценил статью Грановского Чернышевский, который подчеркнул в «Современнике» значение работы Грановского для опровержения важной ошибки, вовлекающей в различные заблуждения, будто родовой строй составляет «исключительную принадлежность славянской истории в противоположность германскому племени, чуждому, по их мнению, общинного начала…» (86, 2, 736). Он отметил, что если немцы исследовали вопрос о немецкой древности в духе «тевтомании», то исследования русской древности у нас послужили опорою совершенно другой мании. Осуждая всякие национальные пристрастия, в особенности славянские и немецкие, он указывал, что различие общинных форм у русских и немцев есть «разница… не в национальном характере, а только в эпохах исторического развития» (86, 2, 738). Положительно оценил Чернышевский эту статью и в рецензии на первое издание сочинений Грановского (см. 86, 3, 346–368).

Мы уже упоминали, что Грановский отводил большую роль Петру I в русской истории. Незадолго до смерти он с особенным восторгом говорил о нем Фролову (январь 1855 г.), рекомендовал К. Д. Кавелину (январь 1855 г.) заняться специально историей Петра, который «сто тридцать лет ждет… себе ценителя» (8, 453). Естественно, что симпатии к Петру сопровождались критикой славянофильской доктрины.

За два дня до смерти, 2 октября 1855 г., как бы подводя итог своему отношению к славянофильству, Грановский писал Кавелину: «Самарин, поступивший в ополчение, доказывает всю важность теперешних событий тем, что по окончании войны офицерам, служившим в ополчении, можно будет носить бороду, следовательно, кровь севастопольских защитников недаром пролилась и послужила к украшению лиц Аксаковых, Самариных и братии. Эти люди противны мне, как гробы. От них пахнет мертвечиною. Ни одной светлой мысли, ни одного благородного взгляда. Оппозиция их бесплодна, потому что основана на одном отрицании всего, что сделано у нас в полтора столетия новейшей истории. Я до смерти рад, что они затеяли журнал… Я рад потому, что этому воззрению надо высказаться до конца, выступить наружу во всей красоте своей. Придется поневоле снять с себя либеральные украшения, которыми морочили они детей, таких, как ты. Надобно будет сказать последнее слово

системы, а это последнее слово — православная патриархальность, не совместная ни с каким движением вперед» (8, 456–457).

Как видим, Грановский был непримирим к славянофильству и в этом отношении был близок к другому русскому просветителю того же времени — Чаадаеву, а также и к Белинскому. Он не пошел на уступки и не впал в заблуждения, в которые впал Герцен еще в России и тогда, когда уже в эмиграции пришел к идее «русского социализма» и видел в славянофилах союзников.

Грановский заметил симпатии Герцена к славянофилам еще до их разрыва с западниками и, подобно Белинскому, скептически отнесся к иллюзиям Герцена относительно возможности прогрессивного развития мировоззрения славянофила Ю. Самарина. 15 ноября 1843 г. Грановский писал Н. Х. Кетчеру: «Фильтрах… (прозвище Герцена. — *З. К.*) завел дружбу с Юрием Самариным. Я давно говорил наперекор тебе и Боткину, что Самарин очень умный и даровитый человек, оставляя в стороне его мнения. Фильтрах же пришел было в восторг от этих самых мнений» (8, 459). Но тогда эти иллюзии Герцена были неустойчивы и быстро рассеялись.

Иначе обстояло дело в 50-х годах, когда Герцен, проповедуя «русский социализм», не прочь был протянуть руку славянофилам на этом шатком мосту. Грановский, наоборот, в это время особенно резко отрицательно относился к славянофилам, и заигрывания Герцена, тем более бессмысленные, что к ним остались равнодушны сами славянофилы, лишь раздражали Грановского. В 1854 г. он писал Герцену из Москвы: «…глядя на пороки Запада, ты клонишься к славянам и готов им подать руку. Пожил бы ты здесь, и ты сказал бы другое» (8, 448). Еще более резко писал он Кавелину о тех же симпатиях Герцена в октябре 1855 г., т. е. совсем незадолго до смерти: «И что за охота пришла человеку разыгрывать перед Европою роль московского славянофила, клеветать на Петра Великого и уверять французских refugies в существовании сильной либеральной партии в России. У меня чешутся руки отвечать ему печатно в его же издании (которое называется Полярной звездою)» (8, 456).

Говоря о месте Грановского среди общественных сил 40—50-х годов, следует заметить, что его нередко относили, особенно в период после его споров и расхождений с Герценом, Огаревым и Белинским в 1846 г., к числу русских либералов. Но мы уже говорили о том, что русский либерализм сложился после смерти Грановского. В более раннее время, когда либерализм только еще зарождался и формировался, к нему относили представителей

самых разнообразных течений (см. 65). Грановский не может быть отнесен к числу либералов типа В. П. Боткина, Н. Х. Кетчера, Е. Ф. Корша и других. Деятель Просвещения, которое в эти годы заканчивало цикл своего развития, когда складывались другие направления русской общественной мысли — революционный демократизм и либерализм (причем первый сформировался в России на полтора-два десятилетия раньше второго), Грановский не примкнул ни к тому, ни к другому. Но как просветитель, он в большей мере тяготел, особенно в своей философии истории, к революционным демократам, чем к будущим либералам, критикуя некоторых из них. Кетчер, писал он в 1854 г., «застыл на известных понятиях и во многом пошел назад» (8, 470. См. также 37, 61. 59, 123. 64, 75–76).

Противоречивость его позиций определила и особый характер его воздействия на русскую общественную мысль 40—50-х годов.

Глава III
ИСХОДНАЯ ПОЗИЦИЯ — ОРГАНИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

еятельность Грановского в области философии была четко локализована: он занимался только философией истории. Каковы же были содержание, роль и значение идей Грановского именно в этой области?

Чтобы ответить на вопрос, необходимо помимо прочего дать себе отчет в том, каково было состояние философии истории на Западе и в России в пору, предшествующую появлению на арене русской общественной мысли Грановского, т. е. в 20—30-х годах XIX в. Надо выяснить также, каковы были тенденции развития в этой области знания в 40-х — начале 50-х годов, когда протекала его деятельность.

Что касается философии истории на Западе, то ее можно рассмотреть в двух планах: во-первых, как собственно философию истории, высшим развитием которой для 20—30-х годов были шеллинго-гегелевская и утопическо-социалистическая традиции; и, во-вторых, как теоретические основания немецкой, английской и французской историографии этого времени (мы имеем в виду, разумеется, не всю западноевропейскую философию истории, а только ту традицию, в русле которой выступил Грановский; другие традиции, как, например, католический провиденциализм, русскую ортодоксальную и неортодоксальную религиозную философию истории, мы оставляем в стороне). Первым в этой традиции выступил в самом начале XIX в. молодой Шеллинг. Но в области философии истории он выдвинул лишь общие идеи, выводя их из философии тождества. Систематически развил эту традицию философии истории Гегель.

Философия истории Гегеля, как и вся его система, приобрела наибольшее влияние в 30-е годы, а с конца 30-х и в 40-х годах уже подвергалась критике. Но так или иначе, вся философская среда, литература, преподавание в годы формирования, обучения в Берлинском университете и начала профессорской деятельности Грановского были проникнуты идеями Гегеля как в позитивном,

так и в негативном плане, т. е. как следование или как критика его концепции всемирной истории. Вся немецкая профессура, включая и названных в первой главе лекторов, которых слушал Грановский в Берлине, прошла школу Гегеля. Курсы Гегеля по этой дисциплине были отчасти им самим, отчасти его учениками по записям подготовлены к печати и за одиннадцать лет, как раз приходящихся на годы студенчества в Берлине и деятельность профессора в Москве Грановского, издавались трижды — в 1837, 1840 и 1848 годах.

Здесь было бы неуместно в подробностях излагать философию истории Гегеля со всеми ее гениальными идеями, диалектическими провидениями, провиденциализмом, националистическими и консервативными тенденциями. Но все же хотелось бы подчеркнуть, что в основе теории, к которой примкнет Грановский, лежит шеллинго-гегелевская философия тождества и ее специальное приложение к философии истории. Это приложение дало возможность понять всемирную историю как «прогресс в сознании свободы» (46, 19), рассмотреть историю как диалектическое развитие абсолютной идеи по определенным ступеням и в форме истории отдельных народов, как бы выполняющих ее «поручения» в определенный исторический период, благодаря чему этот народ становится на некоторое время «всемирно-историческим» (см. 46, 61; 68; 76). Энгельс отметил основное достижение и корни гегелевской философии истории: «Обнаруживающееся в природе и в истории диалектическое развитие, то есть причинная связь того поступательного движения, которое сквозь все зигзаги и сквозь все временные попятные шаги прокладывает себе путь от низшего к высшему, — это развитие является у Гегеля только отпечатком самодвижения понятия, вечно совершающегося неизвестно где, но во всяком случае совершенно независимо от всякого мыслящего человеческого мозга» (1, *21*, 301).

Гегелевская философия истории, т. е. как учение об общих законах существования и развития человеческого общества, сконцентрирована во Введении «Философии истории», где он пытался в общих чертах обрисовать и саму историю Востока и Западной Европы. Что же касается западной историографии, т. е. историоописания, то она не претендовала на формулирование общей теории и имела задачей представить историю человеческого общества — историю отдельных народов, стран. Но даже в сочинениях историков, которые не стремятся к тому, чтобы углубляться в объяснение причин событий, не может не содержаться то или иное понимание историософских проблем. Философия истории неизбежно, хотя по преимуществу и

имплицитно, присутствует в любом историоописании. Это верно вообще, даже и для самых ранних опытов историографии (например, античных), это тем более верно для того времени, о котором у нас идет речь — о 20—40-х годах XIX в. Новые и плодотворные идеи философии истории в последнее десятилетие жизни Гегеля и после его смерти (1831) возникали едва ли не в большей мере именно в историографии, а также в утопическо-социалистических построениях, а не в собственно философии истории.

С 20-х годов XIX в. на почве собственно историографии историки при описании и объяснении исторических событий стали обращать едва ли не главное внимание на социальные и политические движущие силы исторического развития. К. Маркс и Ф. Энгельс, говоря о подготовке открытия в 40-х годах XIX в. материалистического понимания истории (см. 1, 28, 423–424, 39, 176), отметили выдающуюся роль в развитии теории общественного развития французских (Гизо, Тьерри, Минье) и английских историков. Еще раньше выдающуюся роль в этом процессе сыграли представители англо-французского утопического социализма — Оуэн, Сен-Симон, Фурье. Утопический социализм сопрягал собственно философские положения — историческую закономерность, обусловливающую смену форм собственности и форм производственной деятельности, необходимость укрупнения производства, его планомерного регулирования, роль науки и техники в общественно-производственной жизни, провозглашение принципа распределения общественных благ по способностям и потребностям, необходимость обеспечения расцвета личности и т. п. — с критикой капиталистического способа производства и распределения, подавления личности, морального распадения общества. Правда, ко времени выступления Грановского этот классический «критически-утопический социализм и коммунизм», по мнению К. Маркса и Ф. Энгельса остававшийся на почве исторического идеализма, выродился в «реакционные секты» (см. 1, *4*, 456–457) сенсимонистов, фурьеристов, оуэнистов. Овладел ли Грановский всем этим идейным богатством? Отрицательный на этот вопрос следует дать только относительно утопического социализма. Ни в обширной переписке, ни в сочинениях, ни в лекционных курсах (в теоретикоисторических введениях к которым он обозревал все, по его мнению, достойные внимания направления в философии истории и историографии) мы не встречаем следов его знакомства с сочинениями утопистов, хотя в зрелые годы он и выражал известные симпатии к социализму. Ничего не говорит об интересе к учениям утопического

социализма и обширная исследовательская литература о Грановском.

Со всеми другими направлениями западноевропейской мысли, о которых мы говорили, Грановский был хорошо знаком. Философию истории Шеллинга и Гегеля Грановский изучал в молодости и особенно внимательно в Москве. В историко-теоретических вступлениях к своим лекциям он анализировал содержание и прослеживал ее развитие в левом гегельянстве.

Французских и английских историков Грановский читал еще в Петербурге. В 40-х годах, в Москве, он глубже знакомится с французской исторической литературой и идет по параллельным с нею путям. Подобно французским историкам, он изучал историю человечества, главным образом западноевропейского (средневекового и Нового времени, а позже и античного), преимущественно как историю жизни социально-политической. Особенно внимательно он изучает сочинения представителей немецкой традиции историографии (Нибур, Риттер, Ранке и другие).

Что же касается русской философии истории и историографии, то теория человеческого общества привлекала внимание русских мыслителей издавна. В начале XIX в. этот раздел философии разрабатывали разные школы и направления русской мысли. Если оставить в стороне официальную и церковную идеологии, то можно говорить о философии истории деистическо-материалистической школы русской философии (к ней тяготела философия истории декабристов), о взглядах диалектиков-идеалистов и теоретических идеях русских историографов.

Философия истории деистическо-материалистической школы русской философии сформировалась еще в XVIII в. и доминировала в передовой философии первых двух — двух с половиной десятилетий XIX в. Ко времени выступления Грановского она уже завершила цикл своего развития. Главными представителями были И. П. Пнин, А. П. Куницын, В. Ф. Малиновский и другие. Основой теории общества школы была концепция «естественного права» и «общественного договора». В свою очередь ее концепция теоретически обосновывала учение о человеке как произведении природы. Основные разработки этой теории касались проблем: происхождения общества; соотношения личности и общества; свободы и равенства, законосообразности и поступательности развития общества и других.

Другая школа философии русского Просвещения— школа русского диалектического идеализма зародилась в 20-х годах и достигла наибольшего влияния в конце 20-х — первой половине

30-х годов. Непросто дать обобщенную характеристику философии истории русского диалектического идеализма. Ибо она представлена работами многих и весьма разных ученых — И. Ф. Г. Эверса, молодого М. П. Погодина, И. И. Среднего-Камашева, К. Н. Лебедева, К. Зеленецкого, московских любомудров (В. Ф. Одоевского и Д. В. Веневитинова), А. И. Галича, Н. И. Надеждина. Отчасти в философско-методологическом отношении к ней тяготел и Н. А. Полевой. Школа выступала с критикой предшествующей историографии, которая, по словам Д. В. Веневитинова, была не более как «наука происшествий, относящихся до бытия народов» (42, 251), в то время как новая наука должна стремиться «связать случайные события в одно для ума объятное целое; для этого история сводит действия на причины и обратно выводит из причин действия» (там же). Создания новой науки — *«теории истории»* желал и Н. И. Надеждин (70, 44).

Если выделить наиболее существенные идеи, развитые в области философии истории этой школой, то они сводились к следующему [8]. Эта философия истории разрабатывала идею объективной исторической закономерности. Хотя трактовалась эта идея подчас в плане провиденциалистском, но некоторые авторы отмечали роль географического фактора. В работах некоторых представителей этой школы рассматривалась проблема специфики исторического развития относительно природного. Они находили эту специфику в свободной воле человека, основанной на его сознании, что переводило проблемы в плоскость соотношения необходимости и свободы. Многие авторы принимали возрастную схему истории человечества по аналогии с возрастами жизни индивида. Все эти идеи резюмировались в концепции развития рода человеческого.

Весьма злободневной и вошедшей в традицию русской мысли, впрочем, в еще более ранний период была проблема нации, роли отдельных народов в истории человечества. В полемике с Н. М. Карамзиным Полевой утверждал, что история есть прежде всего история народа, и под влиянием французских историков эпохи Реставрации доказывал справедливость борьбы третьего сословия с феодалами. Некоторые авторы применяли эти идеи в процессе обсуждения проблемы специфики русского исторического процесса.

Большое значение имел в развитии русской философии истории социальный утопизм. Исходя непосредственно из недовольства состоянием русского общества и человечества вообще, из констатации того факта, что люди нарушили некую свою родовую природу и впали в индивидуализм, в эгоизм, они

требовали установления нового общественного порядка. В новом обществе родовая природа должна быть восстановлена и стать основой общества, где сама идея человечества как некоего гармонического целого будет реализована и где люди объединятся в сообщество нравственно совершенных членов этого общества. В этих построениях было немало оттенков, так что в них можно различить более консервативные (например, у В. Ф. Одоевского) и более демократические, радикальные (например, у Д. В. Веневитинова и А. И. Галича) тенденции. Но очень важно констатировать, что этот социальный утопизм формировался в русской философии 20-х — начала 30-х годов с явной антифеодальной и освободительной направленностью.

Несколько особняком стоит философия истории П. Я. Чаадаева. Возникшая в 1829–1831 гг., она, несмотря на свой общий религиозно-провиденциалистский характер, содержала ряд плодотворных идей (законосообразности истории, диалектики свободы и необходимости и др.) и имела также выход в социальный утопизм свободолюбивого, антикрепостнического и интернационалистского характера. В 40—50-е годы философия истории Чаадаева претерпела существенную и радикальную эволюцию, включив в свой состав и поле зрения социальные и экономические факторы как моменты объяснения хода исторического развития вообще, русского в частности.

И наконец, кружок Станкевича, и особенно сам его организатор и глава. Идеология этого кружка формировалась в той же традиции, что и взгляды любомудров, Галича, Надеждина, — традиции немецкого классического идеализма, главным образом Канта и Шеллинга, и лишь на завершающей стадии существования кружка и жизни Станкевича — Гегеля и младогегельянства. Философские идеи Станкевича вообще, его философии истории в частности могут рассматриваться как завершающий этап истории русского просветительского идеализма.

Как и с западноевропейской мыслью, Грановский был в разной степени знаком с отмеченными направлениями и представителями русской мысли — с одними меньше, с другими больше. Но если говорить о той традиции, в которой он воспитался, к которой примкнул и которую развил, — о традиции русского просветительского диалектического идеализма, то он усвоил ее.

И поскольку это так, мы имеем все основания сказать, что и самого Грановского следует считать деятелем заключительного этапа истории этой школы. Он начал свою деятельность в области философии истории как ее представитель, он начал свое развитие

на ее основе, и он вышел за ее пределы, что знаменовало собой «своеобразное жизнеспособное распадение школы» (53, 5) на этом ответственнейшем участке ее учения — философии истории. Станкевич сыграл большую роль в формировании воззрений Грановского. Если мы попытаемся доказать в дальнейшем, что Грановский стремился синтезировать все прослеженные воздействия в некое теоретическое единство, то традиция в русской культуре совершенно отчетливо в этом синтезе видна: социальный утопизм в той мере, в какой он присутствует в построении Грановского, идет не от утопического социализма, а от традиции русской социальной утопии. В дальнейшем мы подробно остановимся на том, как Грановский отнесся к предшествующей философии истории. Но о его отношении к воззрениям Станкевича хотелось бы сказать сейчас, поскольку воздействие идей Станкевича Грановский испытал лишь в молодые годы, затем оно угасло отчасти под влиянием более мощных воздействий западной мысли, отчасти потому, что в той мере, в какой они вообще сыграли роль, они были усвоены именно в эти молодые годы. В общем виде мы уже говорили об их контактах, теперь нам надлежит сосредоточиться на этой теме уже под специальным углом зрения: какие именно идеи Станкевича оказали влияние на формирование философии истории Грановского?

Нет сомнения, что советы, какие давал Станкевич Грановскому, мысли, какие он сообщал ему в первые же месяцы пребывания Грановского за границей, были учтены и восприняты Грановским. К этим идеям следует прежде всего отнести взгляд Станкевича на мир, на род человеческий как на единое, на историю человечества, как на единый процесс и на науку о ней, как на монистическую теорию. «Я не понимаю натуралиста, — пишет Станкевич Грановскому в Берлин (14 июня 1836 г.) в письме, как бы дававшем общее направление его историческим занятиям, — который считает ноги у козявок, и историка, который, начав с Ромула, в целую жизнь не дойдет до Нумы Помпилия, не понимаю человека, который знает о существовании и спорах мыслителей и бежит их и отдается в волю своего темного поэтического чувства… Нет! Человек может знать, что хочет… и быть в единстве с самим собою, одушевить науку одною светлою идеею — и этого мы в праве ждать и требовать от тебя, милый Грановский…» (83, 446–447). Для достижения этой теоретической цельности в понятиях об исторической науке Станкевич советует Грановскому заняться философией (см. 83, 447). «Грановский! — восклицает он. — Веришь ли — оковы спали с души, когда я увидел, что вне одной всеобъемлющей идеи

нет знания; что жизнь есть самонаслаждение любви и что все другое — призрак. Да, это мое твердое убеждение. Теперь есть цель передо мною: я хочу полного единства в мире моего знания, хочу дать себе отчет в каждом явлении, хочу видеть связь его с жизнью целого мира, его необходимость, его роль в развитии одной идеи. Что бы ни вышло, одного этого я буду искать. Пусть другие *больше* моего знали, может быть, я буду знать лучше, — и тут нет лишнего самолюбия. Пришло время. *Лучше* — я разумею — отчетливее, в связи с одною идеею, вне которой нет жизни» (83, 450). Нет сомнения, что Грановский воспринял от берлинских профессоров некоторые уже знакомые идеи, они упали на почву, взрыхленную пропагандой Станкевича, а тот факт, что Грановский находился в весьма смятенном состоянии духа, обнаруживает, что лекции берлинских профессоров оказались недостаточными для достижения того «единства знания» и «цельности человеческой натуры», к достижению которых призывал Станкевич.

Дальнейшая переписка Станкевича и Грановского показывает скорее взаимодействие и, так сказать, освобождение Грановского от духовного влияния Станкевича. Грановский спорит со Станкевичем по вопросу о чешском славянском движении (хотя по существу они одинаково оценивают его). Станкевич возражает на оценку Грановским мнения Гегеля о практической пользе истории (мы уже цитировали в первой главе соответствующие места из их переписки). Между ними возникает обмен мнениями о роли политических форм и государства в истории, об истолковании категории действительности в связи с ее интерпретацией московскими друзьями Станкевича.

Но не только отмеченные идеи Станкевича оказали влияние на мировоззрение Грановского, и не только они вызвали со стороны последнего горячее признание роли «учителя молодежи» в его духовном развитии, не этим исчерпывается преемственная связь идей двух мыслителей, ибо хотя Грановский и воспринял их впервые именно от своего друга, но эти же идеи, развитые более глубоко, разносторонне и конкретно, он стал усваивать из лекций берлинских профессоров и книг.

Главное же и специальное влияние Станкевича на Грановского состояло в том, что последний воспринял основную идею Станкевича — идею нравственно совершенной личности как условия совершенства общества, идею гармонии личности и общества; понятие о долге перед родиной — как понятие личной морали, личных устремлений. Грановский перевел этическую идею Станкевича в социологический план. «Никому на свете, — писал Грановский, — не был я так обязан: его влияние на меня

было бесконечно и благотворно. Этого, может быть, кроме меня никто не знает» (8, 404).

Не следует думать, что это были преувеличения, вызванные скорбью по поводу смерти друга. Еще при жизни Станкевича Грановский выражался не менее энергично: «Я не легко и, признаюсь, не охотно поддаюсь чужому влиянию, но Станкевич имел на меня большое, более, чем кто-нибудь после моей матери… Из всех людей, с которыми я сходился в жизни, — а между ними есть много отличных во всех отношениях, — Станкевич самый замечательный. В нем соединяются высшие качества ума и сердца» (9, 38–39).

Это мнение важно не только тем, что оно высказано во время, когда Станкевич еще жил и оказывал влияние, но особенно тем, что здесь сам Грановский считает его влияние большим, нежели влияние его тогдашних университетских учителей (многими из которых он восторгался) и авторов изучаемых им книг. По сообщению Григорьева, Грановский писал ему после смерти Станкевича: «Ему (Станкевичу. — *З. К.)* было 27 лет, а в голове более гения, чем у всех русских ученых, вместе взятых» (9, 53)[9].

* * *

Подведем теперь итог нашему краткому рассмотрению ситуации, которая сложилась в философии истории накануне вступления Грановского в активную научно-преподавательскую деятельность, попытаемся уловить основную прогрессивную тенденцию мировой и русской науки этого времени.

Если бы мы захотели свести все это многообразие в единство, то ситуацию можно было бы охарактеризовать словами Энгельса о том, что объективная прогрессивная тенденция развития этой отрасли философии состояла в формировании материалистического понимания истории (см. 1, 39, 176). В своем конкретном проявлении эта тенденция выражалась в целом ряде идей и концепций, которые могут быть рассмотрены с этой высшей точки зрения, с точки зрения результата развития философии истории в это время.

К такого рода проявлениям относится прежде всего усиление внимания к роли экономики в истории народов. Результатом этой тенденции и было собственно материалистическое понимание истории, внедрение материализма в философию истории, когда исторический процесс осознавался материалистически.

К их числу относится также все более настоятельная проработка, формирование идеи классов и классовой борьбы,

идеи эти, по словам Маркса, сами по себе были выдвинуты еще до него (см. 1, 28, 424–427). Здесь же Маркс говорит о том, как он развил эту тенденцию, но форма подготовки этой составной части материалистического понимания истории состояла именно в открытии «экономической анатомии классов», «существования классов» и «их борьбы между собою».

Большое значение в подготовке материалистического понимания истории имело обоснование закономерности исторического развития, т. е. взгляда, по которому исторические явления и события подчинены определенным объективным законам. Разумеется, что размежевание материалистического понимания истории и ее идеалистического понимания осуществляется соответственно тому, как осознавались эти законы, но в процессе формирования материалистического понимания истории даже и само утверждение существования объективной исторической закономерности, хотя бы и в ее идеалистической форме, имело значение. Идея объективной исторической закономерности противостояла историческому провиденциализму, мистико-религиозному истолкованию истории как божественного промысла, т. е. отрицанию естественности этих закономерностей, утверждению их сверхъестественности, а также и историческому субъективизму, отрицающему всякую закономерность исторических явлений и событий, ввергающих теорию исторического процесса в пучину произвола, а точнее говоря, отрицающему возможность построения какой-либо теории исторического процесса.

Материалистическое понимание истории формировалось также под воздействием диалектики в теории общества. До конца XVIII — начала XIX в. теория общества оставалась не только идеалистической, но и метафизической. Огромное значение для развития этой теории имело внедрение в нее диалектики. При этом особенность этого аспекта развития философии истории состояла в том, что если материалистическая ее переработка была произведена только Марксом и Энгельсом, то диалектическая ее интерпретация была осуществлена ранее, хотя и с позиций диалектики идеалистической. Великая заслуга шеллинго-гегелевской традиции в этой отрасли философии (я не говорю сейчас об их непосредственных предшественниках и вообще об истории проникновения диалектики в философию истории, которая в порядке отдельных прозрений может быть прослежена гораздо раньше) состояла в том, что в соответствии со своей методологией вообще она перевела философию истории на рельсы диалектики. Плодотворность этой работы была поистине грандиозной. Она преобразовала философию истории

кардинальнейшим образом. Принцип противоречия дал импульс к теоретическому осознанию движущих пружин общественного развития, к постановке и рассмотрению соотношений индивида и коллектива, взаимодействию различных социальных слоев общества, т. е. теоретическому обоснованию классовой борьбы. Принцип развития привел к рассмотрению истории общества как поступательного процесса совершенствования человека и человечества, что дало импульс к построению социальных утопий. Была развита еще ранее поставленная проблема соотношения исторической необходимости и свободы и даже предложена концепция, по которой весь исторический процесс осознавался как прогресс в достижении свободы, что дало дополнительные стимулы к утопическим построениям.

Из сказанного видно, что процесс перестройки философии истории с принципов идеализма и метафизики на принципы материализма и диалектики, начавшийся еще до появления теории Маркса, был чрезвычайно значительным, породил множество глубоких, преобразующих эту отрасль философии идей. И мы видим, что их разрабатывали многие деятели науки самых разных школ и направлений. В 20 — х — начале 40-х годов процесс этот захватил и русскую философию.

Особо следует подчеркнуть значение русской традиции в формировании философии истории 40—50-х годов, сосредоточившейся помимо прочего на социальном утопизме, на идее нравственно совершенной и свободной личности как одновременно и цели общественного развития, и условии его закономерного хода по пути осуществления идеала человеческого общества.

Какова была роль в этом процессе Т. Н. Грановского? Как она должна быть оценена с точки зрения развития мировой науки и науки русской? Каково ее отношение к другим передовым построениям в области философии истории, которые были произведены в России 30-х — начала 50-х годов? Каково ее отношение к русской реакционной и консервативной философии истории, т. е. каково историческое место Т. Н. Грановского в развитии русской философской мысли?

Для того чтобы ответить на все эти вопросы, мы должны теперь изучить взгляды Т. Н. Грановского в их эволюции.

* * *

Читая первый курс, он чувствовал себя неуверенно, не владел материалом и не был доволен своими чтениями. Если раньше, в

1838 г., готовясь к чтению лекций, он думал, что для приведения в порядок материала ему достаточно будет «года лекций», то теперь он жалуется в письме к Станкевичу 25/27 февраля 1840 г.: «Я сам недоволен моими лекциями и ни за что не согласился бы прочесть еще раз то, что читал… Еще года два, и я буду хозяином предмета; теперь он владеет мною, не я им» (8, 381). Другое письмо к тому же адресату (от 25 ноября 1839 г.) показывает и недовольство Грановского первым своим курсом, и напряженную работу над ним. «Работы ужасно много, — пишет он, — более, нежели думал. Круглым числом я занимаюсь по 10 часов в сутки, иногда приходится и более. Польза от этого постоянного, упрямого труда (какого я до сих пор еще не знал) очень велика: я учусь с каждым днем. Только теперь начинаю понимать историю в связи… Я… вижу ясно все недостатки (в строении курса. — *З. К.*) — и чувствую решительную невозможность читать в *этом году* иначе» (8, 365; 366).

Курсы последующих лет показывают, как интенсивно устранял Грановский недостатки первого опыта, как крепла его научная самостоятельность, и мы можем считать, что курс 1843/44 учебного года является уже адекватным выражением его взглядов в области философии истории и его собственно исторической концепции, как они сформировались в качестве исходной его позиции. Так определяется первый период эволюции взглядов Грановского: период формирования и формулирования исходной позиции—1839–1844 гг. Пренебрегая некоторыми формальными и содержательными различиями между курсами, мы изложим исходную точку зрения Грановского, опираясь на различные записи курсов этого пятилетия.

Философии истории были посвящены специальные историко-теоретические введения к курсам. Они включали в себя три составных элемента: историю философии истории, саму философию истории и историографию истории средних веков. Для нас наибольший интерес представляют два первых. Может показаться, что эти введения являются некоторой учебной компиляцией уже известных имеющихся в научном обиходе материалов. Однако этот взгляд был бы ошибочным. Теоретические введения Грановского к курсам 1839–1844 гг. представляют собой самостоятельное обобщение материалов, которые, конечно, были известны. Это видно не только по ткани собственно теоретических обобщений, но в особенности по тому синтезу, который осуществил Грановский относительно историко-теоретического и собственно теоретического материалов. Синтез этих двух элементов введений и показывает, насколько самостоятельно Грановский его осуществил. Анализ истории

учений о теории общества дан у Грановского не сам по себе, а как историческая основа теории, которую он хотел изложить и которой сам придерживался. История показывала ее генезис так, что теория оказывалась как бы логическим завершением, последним по времени этапом этой истории, и, разумеется, это не могло быть сделано путем простой компиляции. Более того, теорию и исторический материал Грановский ставит в теснейшее и плодотворное взаимодействие: исторический материал обосновывает теорию, но и теория дает возможность понять историю, линии ее развития, связи и нарушение связей — возникновение нового. Без овладения теорией невозможно понять историю в такой связи ее моментов, как она представлена в очерках Грановского.

Сам он весьма ясно, хотя и с некоторой преувеличенной скромностью охарактеризовал свою позицию как отражение современной научной точки зрения в философии истории. Когда славянофилы и их единомышленники пытались опорочить его публичные чтения обвинениями в разного рода теоретических пристрастиях и антипатиях, он, по словам Герцена (запись сделана в Дневнике 21 декабря 1843 г., т. е. в разгар чтения публичного курса), отвечал им так: «…меня обвиняют в пристрастии к каким-то системам; лучше было бы сказать, что я имею мои ученые убеждения; да, я их имею, и только во имя их я и явился на этой кафедре, рассказывать голый ряд событий и анекдотов не было моею целью. Проникнуть их мыслию…» (цит. по: 47, 2, 320). Это замечание мы должны иметь в виду при чтении записи его курса 1843/44 учебного года: «Приступая к изложению истории Средних веков, я считаю нужным предпослать оному небольшое введение, где постараюсь изложить мысли, долженствующие дать общее мерило, кое может руководить нас при дальнейшем изучении истории. *Эти мысли не* [суть] *мое собственное произведение или убеждение, а составляют общее ученое достояние нашего времени»* (16, л. 3). Чтобы обосновать это, чтобы представить свою концепцию как вариант современной философии истории, Грановский и предпосылал очерку теории исторического процесса (философии истории) очерк истории этой теории.

1. ИСТОКИ, ОСНОВАНИЕ

Самостоятельность позиции Грановского в обрисовке истории философии истории выявляется уже в том, как он представлял ее слушателям, а именно он выделял и сосредоточивался на одной определенной традиции, сложившейся в истории этой науки. В 20—40-х годах XIX в. существовало несколько разнообразных, подчас противоположных учений, созревших в той иди иной традиции. Кроме той, о которой мы говорили выше, существовали и другие, на которых мы не сосредоточивались, — теократические построения, мистико-иррационалистические варианты философии истории вроде философии мифологии позднего Шеллинга. Входил в моду Шопенгауэр, развивался позитивизм. В этой ситуации изложить философию истории в форме систематического, связного рассмотрения ее истории и теории означало конечно же развить собственную точку зрения в русле определенной традиции. И именно это сделал Грановский уже в первые годы своей профессорской деятельности.

Первоначально философия истории, говорит Грановский, еще не отдифференцировалась от самой истории, которая была у греков политической историей. Но как таковая она недостаточна, особенно для современности: «Наши требования гораздо больше и выше» (16, л. 4). Дав краткий очерк попыток — начиная с Геродота — отыскать единый принцип исторического развития человечества и, следовательно, найти принцип систематизации и изложения исторического материала, Грановский ведет начало философии истории от идей швейцарского ученого Исаака Изелина, выступившего в 1764 г. с трактатом «Размышления об истории человечества» («Uber die Geschichte der Menschheit»). «Здесь всемирная история ступила шаг вперед: во-первых, потому, что уже здесь история не отдельных народов, а человечества… во-вторых, здесь принят за несомненный факт бесконечный процесс развития человечества» (16, л. 8 об.). Работа Изелина «не есть собственно история, а размышления, отвлеченные от фактов» (4, 38), и именно поэтому с Изелина Грановский начинает историю философии истории.

Уже в первом своем курсе Грановский обращал внимание на то обстоятельство, что Изелин строит концепцию прогресса в необходимо-полном масштабе, ведет от начала человеческой истории — от первобытности. Концепция Изелина, будучи, по мнению Грановского, первой историей человечества, имеет целью «показать, как человек при известных: влияниях климата, образа жизни, общества переходит от состояния дикости к

образованности» (4, 38). Нельзя не подчеркнуть, что, акцентируя? внимание на этом характере концепции Изелина, Грановский пропагандирует антиклерикальный, антитеологический, антибиблейский взгляд на происхождение человеческого общества.

Изелин, таким образом, сделал решительный шаг по пути создания теории исторического процесса. Однако его последователи — Ж. А. Н. Кондорсе, Э. Б. Кондильяк и другие, изображая историю человечества как прогресс цивилизации, делали это, по мнению Грановского, чисто количественно: «О влиянии просвещения на нравы, о степени возрастания, о внутреннем органическом развитии жизни народов не упоминали, на это не было обращено внимание. Всякая необходимость исторического содержания исчезла, явился произвол: в человеке видели существо страдательное» (16, л. 9).

Связывая эту чисто количественную теорию прогресса человечества не только с идеями Изелина, но и с философской теорией Дж. Локка, Грановский не соглашался с ней, подвергал ее критике. Во-первых, она констатировала прогресс в его, так сказать, чистом виде, игнорировала регрессивные ходы истории, т. е. тот очевидный факт, что «история являет нам зрелище беспрерывных перемен, процветания и увядания, жизни и смерти» (4, 39), что наряду с прогрессирующими, процветающими народами существуют и даже составляют их большинство народы отсталые, погруженные в неподвижность, нищенство и невежество. Во-вторых, эта теория выводила прогресс только из внешних воздействий на человека: «История и человек — простые материалы без внутреннего содержания и развития» (там же). Народы оказывались здесь как бы одинаковыми, качественно неразличаемыми, не имеющими внутреннего «органического» содержания и жизни механическими атомами некоторого единства — человечества.

Дальнейшее движение философии истории вперед Грановский усматривал в трудах И. Г. Гердера, особенно в его труде «Идеи к философии истории человечества». Именно Гердер, «враг этой сухой теории прогресса» (4, 40), протестуя против указанных тенденций чисто количественной философии истории, «первый признал живую самостоятельность народов» (16, л. 9 об.), перестал придерживаться «абстрактного представления об общей человеческой природе», ввел «вместо простой внешней причинности… понятие о всеобщей истории как о прогрессе сил и форм…» (4, 40). Но Гердер был «более поэт, чем историк» (16, л. 9 об.), и на формирование философии истории окончательное влияние оказал Кант своим творением «Идея всеобщей истории

во всемирно-гражданском плане». Сам И. Кант не развил своих идей, да это было и невозможно для такой агностической философской системы, как Кантова. «Система, которая не признавала познаваемости предметов… могла произвести внешнюю схему, а не философию истории» (4, 41). В силу своих особенностей «ни Гердер, ни Кант не установили философии истории, хотя и потрясли в основании старые системы. Честь этого установления принадлежала новейшей философии. Шеллинг первый оказал полное определение органического развития истории. Далее, Гегель, его творение Vorlesungen uber Philosophie der Geschichte (Лекции о философии истории. — *З. К.*) слабо, исключая введения [10], где виден великий мыслитель; но он пополнил и оправдал себя в других сочинениях, как-то: философической религии, эстетике и особенно в философии духа» (16, л. 8 об. — 10).

Как видим, пальму первенства в выделении, статуировании философии истории Грановский отдает не Канту и не Гегелю, а Шеллингу — именно «Шеллинг первый оказал полное определение органического развития истории». Это важно подчеркнуть по трем причинам. Во-первых, здесь мы констатируем очень чуткое понимание истории философии истории. Уже не раз отмечалось, что приоритеты и заслуги молодого Шеллинга в истории немецкой и мировой философии по ряду причин несправедливо оттеснялись на задний план, а на первый выдвигались заслуги Гегеля. К чести Грановского, надо сказать, что он отдает должное этим великим немецким философам, тонко и конкретно понимая роль каждого. Во-вторых, нам потому важно отметить это отношение Грановского к молодому Шеллингу, что оно было вообще характерно для представителей идеалистической философии русского Просвещения первой половины XIX в. — главным теоретическим источником их философии была философия молодого Шеллинга. Это дает нам основание считать молодого Грановского представителем этой школы. Наконец, в-третьих, отношение Грановского к Шеллингу и Гегелю для нас интересно и значительно тем, что оно показывает нам эту школу русской философии в тот период, когда она как таковая распадается и это распадение характеризуется помимо прочего тем, что ее ориентация на философию молодого Шеллинга сменяется ориентацией на Гегеля с тем, однако, что историческая роль Шеллинга оценивается ею весьма высоко. Оценивая эту роль как роль первооткрывателя, Грановский, однако, примыкает уже не к Шеллингу, а к Гегелю, который пошел «далее» Шеллинга.

Все это мы должны иметь в виду уже сейчас, и это поможет

нам понимать отношение Грановского к этим двум его философским учителям и в дальнейшем: как ни эволюционировали взгляды русского историка, отношение его к Шеллингу и Гегелю и оценка их роли в истории философии истории останутся в сущности такими, какими они были уже в первом курсе его университетских лекций.

Переходя далее к характеристике философии истории Гегеля, Грановский говорил, что у Гегеля только «абсолютное», «только сознающий себя внутренно дух обладает полным и ясным уразумением истории и природы» (4, 41), достигая этого уразумения через различные формы мышления. «Извлечь из глубины этого, стоящего выше всякого опыта, самосознания общие понятия, лежащие в основании исторических явлений, — разумное, существенное, с их внутреннею, логическою необходимостью, показать, что случившееся должно было случиться по внутреннему логическому закону, оправдать историю — вот задача философии истории (по Гегелю. — *З. К.)*» (4, 42). Принимая, как мы увидим ниже, основную системосозидающую идею Гегеля об абсолютном (абсолютной идее) как начале всего сущего, в том числе и истории человечества, считая Введение к «Философии истории» ее разделом, Грановский подверг критике и эту часть лекций.

«Вот та краткая теория истории, — говорит Грановский в теоретическом вступлении к своему публичному курсу 1843/44 учебного года, — которая существует в Европе признанная всем ученым миром» (16, л. 14). Конечно, это было неверно, далеко не все признавали теорию Гегеля, и это сразу же почувствовал сам лектор: его курс был принят в штыки славянофилами и деятелями официальной университетской науки (например, Шевыревым). Этого заявления не приняли бы и многие западные консервативные и реакционные ученые (и это Грановский сознавал). Уже началась и критика Гегеля слева. Надо полагать, что Грановский понимал сказанное не буквально, не абсолютно, а в том смысле, что он излагает и опирается на философию истории, как она сложилась к этому времени в определенной традиции, которую он и изучал. Высшим результатом здесь он считал, несмотря на все критические оговорки, Гегеля. Это не значит, конечно, что в эти годы он совсем не прослеживал дальнейшую судьбу этой традиции. Так, в курсе 1843/44 учебного года он считает наиболее «совершенным» развитием «идеи об органической жизни истории» концепцию А. Гумбольдта (16, л. 10 об.), а в конспекте введения к курсу называет еще и польского младогегельянца А. Цешковского (26, л. 23–23 об.), критически относившегося к Гегелю.

Здесь следует напомнить, что еще в Берлине Грановский проявлял интерес к развитию гегелевской традиции младогегельянцами. Напомним, что тогда Грановский собирался читать один из исходных документов левогегельянства — книгу Д. Ф. Штрауса «Жизнь Иисуса» — произведение, которое, по словам Ф. Энгельса, «представляло собой некоторый шаг вперед за пределы ортодоксального гегельянства» (1, *1*, 538). Мы помним также, что, собираясь в 1844 г. издавать свой журнал, Грановский в числе зарубежных изданий, за которыми его журнал должен был следить, называл левогегельянские «Немецкие ежегодники». В его библиотеке имелась брошюра Ф. Энгельса «Шеллинг и откровение», и он был знаком с тем, как излагал (в январе 1843 г.) критику Энгельсом Шеллинга В. П. Боткин в «Отечественных записках» (см. 40). Не удивительно и то, что Грановский упоминал в публичном курсе и Цешковского, этого младогегельянца, который как раз именно и развивал гегелевские идеи в области философии истории (и Грановский подробнее скажет о Цешковском в курсе 1851/52 учебного года). На этого представителя левогегельянства обратили внимание передовые русские мыслители, в том числе Герцен и Огарев. В 1840 г. о Цешковском писал Бакунину Станкевич, высоко оценивший брошюру Цешковского «Пролегомены к историософии» (см. 83, 672). Герцен в своей рецензии на публичные чтения Грановского в 1843/44 учебном году придал большое значение тому факту, что Грановский упоминал Цешковского. «Хорошо сделал г. Грановский, что не забыл упомянуть брошюру Чешковского (так Герцен транскрибирует эту фамилию. — *З. К.*) „Prolegomena zur Historiosophie“; ему принадлежит честь первого опыта наукообразно выйти из гегелевского построения истории…» (47, 7, 209).

Итак, Грановский критиковал Гегеля и в самом исходном пункте своего развития — в курсе 1839/40 учебного года, и в следующих, в какой-то мере поддерживая критику Гегеля слева. При всем том в общей теории он в основном остается сторонником гегелевской философии истории.

Небезынтересно отметить, что в упомянутом конспекте введения к курсу 1843/44 учебного года он противопоставлял Цешковскому «реакционное» послегегелевское направление, называя его «новая школа историков-юристов» (26, л. 23–23 об.). Герцен полагал, что имелись в виду католические философы Л. Г. Бональд и Ж. М. де Местр (47, *1*, 209). Думается, однако, что под понятие «новой школы историков-юристов» подходят скорее Савиньи и его последователи. Работы Бональда, как и де Местра, относятся к концу XVIII и началу XIX в., да и вряд ли их обоих

можно отнести к числу юристов. В самом же курсе 1843/44 учебного года Грановский говорил о современном состоянии исторической науки, отмечал первенствующую роль Германии и Франции, некоторое отставание Англии и завершал исторический обзор теории указанием на то, что «история в наше время в Германии проникнута новыми философскими идеями (т. е. идеями Шеллинга и Гегеля. — *З.* К.)… Простое начало новой системы есть согласие между природой и духом, миром идеальным и вещественным. Это начало оказало влияние и на естественные науки, и из него вытекает идея об органической жизни истории» (16, л. 10–10 об.). Многократное употребление Грановским термина «органическая жизнь» (см. 4, 43; 44) и понимание истории как «развития органической жизни», как «органического развития» (4, 46) дает нам основание называть и саму концепцию философии истории Грановского органической теорией.

2. ОРГАНИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ

Современная Грановскому философия истории, принципы которой он синтезировал на основании рассмотренных теоретических источников и собственных наблюдений и соображений, есть теория органического развития человечества. Грановский считал ее результатом развития философии истории к концу 30-х — началу 40-х годов XIX в.

Согласно этой теории, исторический процесс един, основан на высшем, объективном законе, а наука история «подчинена общему требованию, закону единства; она должна все разнообразие богатства своего материала привести к единству; в ней должна быть общая точка зрения, одна историческая идея» (16, л. 3 об.).

Стремясь к этой своей цели, наука история находится в «связи с другими отраслями знания, с другими науками», и «мы увидим, что лучшие исторические идеи вошли в науку (истории. — *З. К.)* извне. История в особенности граничит с философией» (16, л. 3 об. — 4), на их стыке и образуется «философия истории» — понятие, которое Грановский употреблял с самого первого курса лекций (см. 4, 41. Ср. 16, л. 9 об.) и критиковал отрицающих философию истории, как, например, Шевырева (см. 8, 460).

Исходной идеей органической теории является шеллинго-гегелевская концепция тождества бытия и мышления: «Простое начало новой системы есть согласие между природою и духом, миром идеальным и вещественным» (16, л. 10), есть «тождество реального с идеальным, бытия с мышлением» (4, 41). В одной из записей курса 1842/43 учебного года мы находим прямую ссылку на Шеллинга: «Начало философии, которое есть согласие природы и духа, это начало тождества, положенное Шеллингом…» (15, л. 4 об.). Это «начало» Грановский трактовал как сторонник объективного исторического идеализма в его гегелевской форме: это тождество — «только две стороны одной сущности, вышедшие из одного корня — из абсолютного или понятия, или, лучше сказать, это — само абсолютное, открывающее себя в явлении; оно осуществляет и составляет зиждительную силу истории и природы; субъективный дух и мир подчинены одному закону, совершают один и тот же процесс развития» (4, 41). Но хотя «абсолютное понятие» есть «единый корень» и для природы, и для истории, «жизнь человечества», «как предмет истории», независима от законов природы, она «как всякая жизнь развивается из себя самой и составляет также одно

целое, развивающееся по одним законам, независимо от внешней необходимости. Начало, лежащее в основании сего развития, есть бесконечный разум» (14, л. 1). Итак, история человечества подчинена как общим, так и специфическим законам развития «бесконечного разума».

Такой спецификой прежде всего является развитие истории в форме развития отдельных народов. Именно от этой специфики и можно произвести название той разновидности философии истории, которой придерживается Грановский, — органической теории.

Органическая теория как «воззрение об организме гражданских обществ» зародилась в Германии, но ее предтечей был Дж. Вико, оказавший также влияние на Гердера, который «признавал неудержимый прогресс народа… говорил, что каждое общество есть такой же организм, как организм одного человека; что прогресс состоит не во внешнем приобретении, а в углублении человека в самого себя» (19, тетр. 2, л. 3). Здесь мы отчетливо видим, что эта теория является «органической» потому, что рассматривает отдельные народы как организмы и человеческое общество в целом— как единый организм, развивающийся по соответствующим законам.

Органическая теория в отличие от механистической, чисто количественной теории Локка — Кондорсе — Кондильяка рассматривает народы как гетерогенные организмы, а не как однородные атомы, и человечество — не механическое соединение отдельных единиц, а единый живущий и развивающийся организм.

Грановский так определяет само «понятие о народе»: «… живое единство, система многообразных сил, над которыми владычествует одна основная сила» — «народный дух» (или «гений народа»), а не «внешние влияния». Это не значит, что «народный дух» совершенно замкнут, изолирован от внешнего мира, но это значит, что он ассимилирует внешние воздействия в себе, в соответствии со своей природой, а не механически подчиняясь этим воздействиям; «дух» «усвоивает себе все приходящее извне и кладет на него свою печать, как господин и хозяин» (4, 43).

Перед нами — гегелевская концепция абсолютной идеи объективного идеализма в его применении к философии истории. И насколько это так, видно из дальнейшего развития этой теории. «Происхождение» «гения народа» «непроницаемо, сущность таинственна», хотя мы и узнаем его по проявлениям «дела народа, его судьбы, учреждения, религия, язык, искусство — суть откровения народного духа, органы его деятельности, деятельные

силы истории» (4, 43). Здесь надо подчеркнуть, что Грановский оставался в дальнейшем приверженным объективно-идеалистической философии истории. Мы только что цитировали его конспект лекции 1839/40 учебного года и студенческую запись этого же курса. Но вот что он говорил о «народном духе» в публичном курсе 1843/44 учебного года. Органическая теория исторического развития рассматривает народ не как внешнее единство (подобно Ж. Ж. Руссо), но как единство органическое, как «совокупность сил — связанных одной силой — *духом его*, его характером, который определяется не внешним чем — ибо, напротив, он есть внутри себя; сам по себе этот дух невидим, он высказывается в органах своих, кои суть: религия, учреждения, науки, искусства, идеи. Эти-то органы и предстоят внимательному изучению, если кто хочет постигнуть духовную жизнь народа» (16, л. 10 об.).

Эпохи истории отдельных народов Грановский рассматривает как «моменты» абсолютного начала, которые могут быть поняты так же, как «идея» или «начало» народа. Такими «началами» являются «в мире древнем… изолированность, индивидуализм»; каждый из народов «осуществляет свою задачу и развивает свою основную идею». В «новой истории» господствует другая идея, другая «образованность» (14, л. 3). «Среднюю историю» Грановский, сохраняя гегельянскую терминологию, рассматривал по «моментам»: «первый момент» — «момент образования обществ, развитие германского элемента на римской почве и под влиянием римского элемента» (14, л. 68); «момент II» — Аравия, «момент III» — история Скандинавского полуострова. Несмотря на эту специфику развития и самой сущности «духа» каждого народа, чрезвычайно важно было бы, полагал Грановский, для истории развития человечества выявить «ступени, через которые шагал всеобщий дух» (14, л. 49).

Этими единообразными ступенями развития народов оказывается их возраст — Грановский принимает возрастную схему истории народов. Возрасты истории народа могут быть охарактеризованы сравнением «ее эпох с возрастами человеческой жизни» — «младенчество», «юность», «возмужалость» и «старость»; «каждый возраст образует особливый период…» (4, 45–46)[11].

В младенчестве народа «человек не может освободиться от природы, не имеет отдельного сознания» (16, л. 11 об.). У народа в этот период в сущности нет истории, «историческое время открывается переходом из юношества к возмужалости… стремлением свободно и обдуманно создать и расширить свое бытие» (4, 45). В этот период «человек освобождается от условий,

кои его обременяли без его сознания, от влияния природы, которая определяла его жизнь и историю; тогда начинают развиваться разнообразные формы проявления жизни; начинается борьба прежнего с новым, борьба народа возмужалого с жизнью родовою» (16, л. 11 об.), наступает период борьбы, обновлений, изменений, переворотов (см. 4, 45). Период возмужалости — это период расцвета народа, осуществления его исторической миссии, «народ совершает свое историческое назначение до тех пор, как жизнь его ослабевает» (16, л. 11 об.), дух устает и «истощенные силы перестанут производить новые явления… оцепенеют и потеряются. Тогда наступает старость народа», происходит его упадок, разложение (4, 45): «Признаки его („возраста старости“. — *З. К.*) — равнодушие к обществу, отвращение от старины, распадение общества на частные политические интересы; государство перестает существовать как полный живой организм и делается механическим собранием частей» (16, л. 11 об.).

И здесь Грановский ставил два важнейших вопроса философии истории: как осуществляется переход от одного состояния (возраста) к другому и могут ли одряхлевшие народы возродиться к новой жизни, т. е. является ли исторический прогресс бесконечным, и не только применительно ко всему человечеству, но и к отдельному народу.

Что касается первого вопроса, то мы уже говорили о противоречивости его отношения к революции, о его напряженном интересе к фактам революционного движения народов, но и о его боязни революции. Когда мы хотим осмыслить эту позицию теоретически, на память приходит афористическая самохарактеристика, данная П. И. Пестелем в беседе с А. С. Пушкиным. «Сердцем я материалист, — вспоминал А. С. Пушкин этот „метафизический“ разговор, — но мой разум этому противится». Подобным образом можно сказать и о Грановском: он склонялся к тому взгляду, в соответствии с которым развитие народов происходило и должно происходить плавно, мирно, непрерывно, он тяготел к эволюционизму, хотя его теоретический разум и противился этому: и метод диалектики, и осмысление фактов истории говорили о закономерности революционных взрывов в истории человечества и о плодотворности их результатов. Переходы истории совершаются «незаметно», следующий постепенно подготавливается предыдущим (см. 4, 45), развитие народной жизни имеет «свой закон постепенности, как и всякий организм в развитии» (11, л. 11). Однако история давала слишком много примеров нарушения подобной постепенности, чтобы Грановский

мог ограничиться чистым эволюционизмом. Он вынужден признать, что в действительной истории дело не обходится без перерыва постепенности, без скачков: «Резкое отличие одной эпохи народной жизни от другой является тогда уже, когда наступает новая, естественно отличная от старой» (16, л. 11). В эти эпохи формы народной жизни переходят «от периодов спокойного образования к переворотам, разрушающим эти формы и зиждущим новые…» (4, 45).

Но существует ли предел прогресса народа? Прогресс человечества, по мнению Грановского, бесконечен, в истории действуют «вечно новые противоположности», и «из борьбы их исходят вечно новые результаты». Но как же сочетать это мнение с утверждением, что народы дряхлеют, как бы исчерпывают свои потенции? Оказывается, что народы, сменяя друг друга на посту лидера человечества, могут обновиться «через принятие нового начала жизни» (4, 44; 46), «постаревший» народ обретает новую жизнь «чрез принятие новых элементов» (16, л. 12), т. е. через восприятие достижений других народов.

Здесь выявляется гуманистический идеал Грановского, его враждебность какому бы то ни было национализму, унижению каких-либо народов. Человечество есть единая семья, оно «одушевлено одним духом», «народы относятся к человечеству, как индивиды к народу» (4, 47), они взаимосвязаны, происходит распространение «цивилизации» данного народа на другие народы так, что каждый из них вырабатывает непреходящие ценности (см. 4, 48–49); результатом взаимодействия и «борьбы народов» является «смешение народностей и обмен их умственных сокровищ» (4, 47). Хотя народ со временем и стареет, но его достижения не погибают, а воспринимаются другими народами и используются ими для достижения общей цели человечества, которая и образует основу их единства. Цель эта — достижение общественных, духовных и материальных благ, и, хотя «в человечестве… народы преходят», «цель остается». Достижения стареющего народа переходят к новому, молодому, который в свою очередь разовьет эти достижения и передаст их по исторической эстафете (см. 16, л. 12 об., 13). В этой связи он критиковал реакционные националистические построения тех представителей немецкой философии и историографии, которые полагали, что не все народы мира могут принимать активное участие во всемирно-историческом процессе, а роль «возрождения человечества» из кризиса римского мира приписывалась «германскому племени». Хотя Рим и распадался, возражал на это Грановский, но римское общество «завещало германскому богатое наследие», а потому «честь этого возрождения принадлежит в

одинаковой степени как Германскому племени, так и Римскому обществу» (16, л. 91–92 об.).

И в этой связи Грановский высказывал мысль, свидетельствующую, что он более последовательно, чем Гегель, и в отличие от Гегеля интернационалистски интерпретировал проблему народа в системе философии истории. Мы имеем в виду мысль Гегеля, что каждый народ есть момент в истории саморазвития абсолютной идеи на стадии, когда она уже возвратилась из природы в дух, а именно в человеческую историю. Такая концепция, будучи последовательно развита, исключает национализм и национальные предпочтения: всякий народ, все народы представляют собой в тот или иной период истории такой момент развития абсолютной идеи, иначе они не могли бы возникнуть и жить. И поэтому Гегель противоречил себе, когда утверждал, что не все народы становятся всемирно-историческими, а с другой стороны, не отрицал, что народы, еще не бывшие всемирно-историческими, могут стать ими (см. 46, 83), Грановский последовательно трактует эту гегелевскую фундаментальную идею. Возражая немецким ученым (но в этой связи не упоминая Гегеля), которые хотели вывести всю среднюю и новую историю из немецкого элемента, из «духа» немецкого народа, он говорил: «В наше время об таком избранном, особенно предназначенном народе не м[ожет] б[ыть] речи. Каждый народ идет туда, куда ведет его провидение (здесь Грановский вполне удерживался на мистико-религиозной позиции гегелевской философии истории. — *З. К.*), каждый несет свою лепту, свой дар в историю» (17, л. 26).

Подобно некоторым своим русским предшественникам, Грановский думал, что со временем все народы приобщатся к цивилизации и прогрессу. Ссылаясь на факт постоянного расширения этнографической сферы науки истории, он заключал: «Судя по этому, можно надеяться, что Всеобщая История рано или поздно станет всемирной: все народы, принадлежащие к естествознанию, приобщатся к жизни всемирно-исторической» (16, л. 14). Из этой гуманистической, антинационалистической установки проистекал и его интерес к восточным народам. Он упрекал историка Ф. Лоренца, книги которого по всеобщей истории переводились в 40-х годах на русский язык, в недостаточном внимании к истории восточных народов; факты истории (Грановский говорил о Китае и Индии) их «в высокой степени занимательны для историка, которому они могут служить для важных сближений и аналогий» (4, 203). Он с удовлетворением отмечал, что «18 век дал всем народам право на место в истории. Для него все равны, что дикий житель

африканский, что образованный грек; и то и другое получило от него право гражданства в истории» (цит. по: 37, 56).

В контекст их рассуждений Грановский включал рассмотрение и еще одной важной проблемы— проблемы свободы и необходимости в истории. Казалось бы, что возрастная схема истории народов должна была бы истолковать необходимость их сошествия с исторической арены после того, как они свершили свою миссию — развили свои потенции и передали человечеству все то, что было им предназначено сделать, что смогли достичь они в период «зрелости». Но в истории действует не только эта необходимость, но и свобода — свобода воспринимать новые начала и тем вновь возвращаться к исторической жизни: «В истории необходимость связана со свободою…» (16, л. 11 об. — 12). Эту проблему, как проблему свободы человека и народа, Грановский полемически обсуждал в заключении теоретического введения к курсу 1843/44 учебного года. Он не соглашался с теми, кто обвинял органическую теорию в уничтожении свободы человека, подчиненного необходимости, и в освящении права сильного. «И то и другое несправедливо», говорил он, доказывая диалектическое сочетание необходимости и свободы в истории и утверждая, что «право победителя в истории принадлежит не сильному, а справедливому» (16, л. 14 об.).

Принципиальное значение как в системе идей Грановского, так и для характера их воздействия на дальнейшее развитие философии истории в России имело рассмотрение тех законов, которые свойственны не только истории, но и всему универсуму, т. е. законов всеобщих. Речь идет о диалектике исторического процесса. Эта диалектика многообразна и включает в себя идеи противоречивости, интерпретированнои применительно к историческому процессу; законосообразности исторического процесса, т. е. наличие исторической необходимости; идею его поступательности, и притом по определенным, единым для разных семейств человеческого рода ступеням. В этих контекстах Грановский рассматривал проблему соотношения постепенности и скачкообразности исторического развития, соотношения отдельного народа и всего человечества как проблему всеобщего и особенного. Разумеется, при этом они стояли не как собственно философские, а как проблемы философии истории и самой истории.

Остановимся несколько подробнее на диалектических идеях органической теории. Органическая жизнь народов и человечества в целом есть процесс, развитие. Механизмом этого развития является борьба противоположных сил. «Жизнь

народов, — говорил Грановский на своих публичных чтениях 1843/44 учебного года, — слагается из *борьбы противоположных сил:* чем могущественнее народ, тем сильнее борьба» (16, л. 10 об.). Борьба «разнородных сил» образует различные периоды в жизни народов. В конспекте лекций 1839/40 учебного года профессор не только резче формулировал ту же мысль, но и придавал ей более обобщенный характер, считая «борьбу противоположных сил» законом универсальным, которому равно подчинены и история, и природа. Применительно к истории он истолковывал эту закономерность также и в социальном смысле. Грановский философски (диалектически) обосновывал идею социальной борьбы как движущей силы истории. «Всякая жизнь, — записал он, — условлена борьбою противоположных сил, которая наконец заключается каким-нибудь продуктом, полезным для целого, которому принадлежат эти силы. В великом организме народа совершаются такие же борьбы не только лиц, но и кругов, на которые подразделяется народ. Таким образом, один простой закон владычествует в беспрерывных повторениях природы и человеческого мира, но с тем различием, что в природе этот процесс совершается как однообразное круговращение, в истории он совершается над вечно новыми предметами, ибо ни один момент не равен другому» (4, 43–44).

Здесь Грановский обращает внимание на законосообразность исторического процесса, и в частности на ту его особенность, что он есть процесс поступательный, и притом бесконечный, в чем также нельзя не видеть противостояние московского профессора многим его берлинским учителям. «Вечно новые противоположности, и никогда не возвращаются они к прежним пунктам, из борьбы их исходят вечно новые результаты». Грановский сосредоточивался на проблеме поступательности и стремился обобщить данные об историческом развитии народов, выявить единообразные для них моменты или ступени. «Основа (Anlage)» духа «не вдруг переходит в действительность, но развивается в известном порядке», и изменение облика народа, его история закономерна, необходима, «совершается независимо от случая и произвола…» (4, 44).

Итак, органическая теория является разновидностью объективно-идеалистической и диалектической философии истории. Грановский в сущности навсегда останется ее сторонником. Но уже с самого начала наметилась, а в дальнейшем все более и более разрасталась и углублялась, противоречивость этих его воззрений, в которых вызревала и другая тенденция. Сторонник философии истории немецкого классического идеализма, Грановский с первых дней своего

профессорства и даже раньше — со студенческих лет в Берлине критиковал гегелевскую философию истории.

В первых курсах он углубляет эту критику: «По Гегелю, только сознающий себя внутренно дух обладает полным и ясным уразумением истории и природы; он узнает в ней (истории) свою сущность, собственную историю… Извлечь из глубины этого, стоящего выше всякого опыта самосознания общие понятия, лежащие в основании исторических явлений… вот задача философии истории (Гегеля. — З. К.)» (4, 41–42). Следовательно, гегелевская философия истории навязывает истории схемы и формы, «общие понятия» истории духа. Она рассматривает историю не как самостоятельный процесс, а как некоторое отражение развития абсолютной идеи, и получается, что история, ее эпохи и периоды есть не более чем «моменты» развития абсолюта. Но, возражает Грановский Гегелю вместе с другими «историками» (которых он, правда, не называет по именам), «у истории, как и у философии, есть определенная ее собственным понятием граница, за которую она не должна переходить. Ее содержание составляют факты, данные опытом, определенными обстоятельствами… Конечно, Всеобщая история должна восходить от отдельных явлений к общему, к неизменному, к закону; но она идет путем обыкновенного размышления, и только то, что в ней самой открывается, имеет в ней место. Подобно естественным наукам должна она ограничиться наблюдением однообразно повторяющихся случаев и выводов закона или общего правила» (4, 42). Это весьма убедительное рассуждение Грановский дополнял ссылкой на то, что «идея органической жизни» как «самая плодотворная» взята философией «из естествознания» (см. 4, 43).

В оппозиции Гегелю здесь высказаны две идеи — специфики закономерности истории человечества по отношению к истории абсолютной идеи и связи методологии исследования истории с методологией естественнонаучной.

Вопреки мнениям некоторых историков Грановский предостерегал от того, чтобы из специфики законов истории выводить полную несвязанность науки об истории с философией. Те, кто думает так, «сами, без сознания, были приверженцы старой, уже отжившей системы» философских идей; «теперь философия стала необходимым пособием для истории, она дала ей направление к всеобщему, усилила ее средства и обогатила ее идеями, которые из самой истории не смогли скоро развиться» (4, 42).

Здесь мы не можем не констатировать глубокое противоречие между этими рассуждениями Грановского и тем, что мы узнали

из предыдущего изложения его органической теории. Там Грановский сам подчинялся гегелевскому формализму, рассматривал периоды и даже регионы истории человечества как «моменты» шествия абсолютного разума, т. е. рассматривал историю не имманентно, а налагая на нее схему, которую разработал Гегель для изображения развития идеи в сфере логики, заявлял о независимости истории от внешних влияний и понимал ее законы как законы развития абсолютного разума. Здесь он критикует подобный подход, эту подчиненность, можно сказать угнетенность, истории и подчеркивает ее самостоятельность, а также связь методологий исторической науки и естествознания.

Мы увидим, что это противоречие в дальнейшем будет углубляться. Осмысление Грановским хода исторического процесса не ограничивалось освоением некоторых общих положений философии истории, но вело к их методологической интерпретации, к выработке методологии, т. е. системы способов исторического исследования и изложения. Сам Грановский термина «методология» не употреблял, специального раздела о методологии в своих теоретических введениях к курсам лекций не выделял. Но он говорил в них о методах исторического исследования. Говорили о них и современники, которые анализировали его взгляды, как, например, Чернышевский. Стремясь реконструировать взгляды Грановского в области философии по такой методологии, он высказал несколько суждений, которые необходимо концентрированно изложить.

Во-первых, методологическим выводом из органической теории было утверждение единства способов и целей исследования истории различных народов, т. е. принцип универсализма методов исторического анализа, основанный на единстве самого исторического процесса: раз исторический процесс в целом есть шествие абсолюта в форме истории человечества, — значит, моменты этого процесса единообразны у различных народов. Благодаря такой методологической установке история как наука получает единство, «выбор фактов также получает твердое основание; важно то, что характеризует дух в его разнообразных переходах и действует, определяя, на его развитие…» (4, 46).

Идея органической жизни преобразовала науку истории.

Во-вторых, методологическим выводом из органической теории было утверждение, что те законы, которые зафиксированы в качестве всеобщих законов абсолюта — противоречивость, борьба противоположных сил как движущая пружина развития, его поступательность и т. п., — являются законами и

исторического развития, так что, изучая историю народа, исследователь постигает ее, опираясь на это понимание закономерностей исторического развития. Что это так, мы видели из рассуждений Грановского об этих закономерностях. Но он дает методологическую интерпретацию теории и в обобщенном виде: «Что идея организма приложима к целому человечеству, не подлежит сомнению: если части живут органически, то и целое. Человечество одушевлено одним духом, который обособляется в большие и меньшие круги, и идет правильным путем развития» (4, 47).

В-третьих (в русле основной органической теории и в известном противоречии с только что рассмотренными оговорками, критикой Гегеля), Грановский настаивал на единстве теории и ее приложения к истории: стадии исторического развития — это не более чем стадии развития духа. Для истории развития человечества важно было бы выявить, говорит он, «ступени, чрез которые шагал всеобщий дух» (4, 49). Последовательность, с какой народы входили в историю в качестве всемирно-исторических, определена провиденциальными целями, так что сама по себе история здесь объяснить все до конца не может. Единый «всеобщий дух шагает» так, что «один (народ. — *З. К.*) сменял другого, но не выходит из него и не наследует его духа; он самобытен и входит в историю как новое творение. Замечательно, что еще до появления такого нового народа, до возможности его влияния на других духовное его начало уже начинает показываться у его предшественника в последнем периоде бытия… Эта связь, независимая от внешней исторической, непонятная, свидетельствует, быть может, более, чем что другое, о непрерывном развитии» (4, 49).

Здесь формализм идеалиста-гегельянца берет верх над тем рациональным историзмом, который Грановский проявлял в самой теории органического развития, где связь народов определялась не тем, что все они — проявление «всеобщего духа», т. е. не с помощью мистики и не на основе методологической интерпретации гегелевского объективного идеализма, а на основе трезвого понимания связи жизни народов, зависимости их истории, преемственности их развития, бесконечности прогресса человечества.

Обратную этому идеалистическому формализму, этой идеалистической трактовке единства человеческого рода направленность имеет четвертая методологическая интерпретация, которую можно считать вполне чужеродной по отношению к третьей и о которой мы уже сказали: Грановский провозглашал необходимость достижения единства методов

исторической и естественных наук, необходимость внедрения в историческую методологию опыта и основанного на нем размышления. Однако в первой половине 40-х годов мы не находим у Грановского достаточного развития этой методологической установки, да и сама она сформулирована так, что не согласуется с настойчиво повторяемой мыслью о независимости истории от внешней необходимости. Мы увидим, как радикально изменится взгляд Грановского именно по этому вопросу в последний период его жизни.

Наконец, в-пятых, можно отнести к методологической интерпретации органической теории различения всеобщей и всемирной истории. «Всемирная история имеет дело с событиями в их связи между собой» (4, 37). Она есть эмпирическая история. Всеобщая же «должна восходить от отдельных явлений к общему, к неизменному, к закону», «выводить закон из общего правила», она в отличие от всемирной, занимающейся всеми народами, населяющими землю, имеет в виду лишь народы, уже ставшие всемирно-историческими, связующими «между собой человечество, шествующее вперед в своем развитии» (16, л. 12 об.), «всеобщая история имеет по понятию своему предметом не весь род человеческий, а только общее, существенное в нем. Она есть история развития человечества» (4, 47). В более позднем курсе лекций (1848/49 учебный год) он добавит: «Всеобщая история должна проследить прогресс рода человеческого» (19, тетр. 2, л. 5 об.). Но до сих пор «Всемирная история оказывалась неспособной возвыситься до Всеобщей истории…» (4, 37). В будущем, однако, они, по мысли Грановского, сольются, ибо все народы станут активными участниками истории человечества и все смогут войти в историю всеобщую.

Позднее, в 50-х годах, он углубляет различение всеобщей и всемирной истории. Всемирная история эмпирична, включает в себя все народы и потому «гуманна», «давала равную цену истории монголов, кафров или других дикарей Африки и истории Римлян» (19, тетр. 1, л. 11 об.), но «забывает развитие рода человеческого, что должно составлять сущность истории». Всеобщая история — направление «более философское, хотя… оно было внушено философией материальной», Дж. Локком и Э. Б. Кондильяком. «Всеобщая история должна проследить прогресс рода человеческого, т. е., по объяснению Гердера, показать, как человек сам в себя углубляется» (19, тетр. 2, л. 2; 5–5 об.).

Отсюда следуют выводы о пользе истории: она доказывает, что человечество идет по пути прогресса, и потому воспитывает оптимизм, «она помогает угадывать под оболочкой современных событий аналогии с прошедшими и постигать смысл современных

явлений; только через историю можем мы понять свое место в человечестве; она удерживает нас от отчаяния, показывая, что совершило человечество на земле, и позволяет оценить достоинство человека» (19, тетр. 2, л. 5 об. — 6).

Отметим здесь одну неясность. До сих пор мы видели, что функцию открытия и формулирования общих законов развития человечества, т. е. общих законов истории, Грановский возлагал на философию истории. Теперь же эта функция возлагается на всеобщую историю. Можно, конечно, истолковать эту неясность в том смысле, что философия истории разрабатывает проблему в общей, теоретической форме, а всеобщая история — на историческом материале, в форме фактического изложения. Вероятно, так это понимал и Грановский в начале своей деятельности. Но мы потому обращаем внимание на это противоречие, что в дальнейшем, В 50-Х годах, мы обнаруживаем у Грановского прямое утверждение о том, что философия истории не оправдала возложенных на нее надежд и истории придется самой заняться делом открытия общих законов.

Задаваясь вопросом о связи теоретических введений к курсам истории с самими этими курсами, методологическими установками и их реализацией, применением в материале, мы должны констатировать, что соотношение это не было однозначным для разных теоретических установок, разных методологических интерпретаций. Одни из них становились для Грановского реальной основой исторического исследования и изложения. И здесь даже можно выявить некоторую закономерность: чем более общими были эти теоретические положения, чем непосредственнее они заимствовались из шеллинго-гегелевского объективного идеализма, тем меньшее применение они находили, чем конкретнее они были, тем в большей степени служили практическим руководством. Абсолют, его движение и отчуждение в разные области — все это мало реализовывалось в материале, хотя и можно отчасти проследить такие связи, например то, что выделенные в теории объекты исследования — религия, учреждения, науки, искусства, идеи — становятся и действительными предметами изложения лектора, «деятельными силами истории», т. е. объектами исследования историка являются «дела народа, его судьбы, учреждения, религия, язык, искусство» (4, 43).

Но в целом можно сказать, что связь истории с гегелевским формальным методом если и имела место у Грановского, то почти исключительно лишь в некоторых отдельных теоретических рассуждениях и установках. Если же сопоставлять эти рассуждения с самим курсом, его построением и содержанием, то

нужно признать, что они противостояли друг другу, и историческое изложение было свободно от этих формализмов, подчиняясь другой теоретической установке Грановского, той самой, с которой он критиковал гегелевский формализм и требовал автономии истории от философии. В особенности это было заметно уже к 1843/44 учебному году (хотя, может быть, и меньше в курсе 1839/40 года). Герцен, который слушал публичный курс Грановского 1843/44 учебного года, как и другие слушатели, видел связь Грановского с Гегелем, но в своем отзыве на эти лекции специально подчеркивал, что Грановский оказался свободным от гегелевского формального метода: «…принимая историю за правильно развивающийся организм», Грановский «нигде не подчинил событий формальному закону необходимости и искусственным граням», как это делают даже «величайшие мыслители Германии», т. е. Гегель, и что «до нелепости» доводят такие последователи Гегеля, как Кузен (см. 47, 7, 218; 219).

Однако другие общетеоретические идеи органической теории — и как раз те, которые составляли ее великое достояние, — получали непосредственное отражение в изложении, в освещении исторических событий и приобретали даже актуальное, можно сказать, политическое значение. Мы уже обращали внимание на диалектические закономерности — противоречивость борьбы противоположных сил, идею свободы как цели истории, гармонию человеческого общества в его идеальном состоянии и т. п. И многие из них звучали как прямое опровержение славянофильских и официальных охранительных учений об обществе и его истории, звучали как обличения русских порядков и целей, к которым старались вести Россию сторонники идеологии православия, самодержавия и народности. В этом смысле можно говорить, что теория органического развития, излагаемая Грановским, отнюдь не повисала в воздухе, что она имела свой эквивалент в изложении хода исторического процесса и свое злободневное звучание при его осознании.

3. ИТОГИ

Заканчивая на этом характеристику взглядов Грановского в области философии истории, как они сложились на первом этапе его деятельности в Москве (1839–1844), мы убедились в том, что они имеют следующую структуру:

1. Осознание процесса развития философии истории, приведшее к выработке органической теории исторической жизни человечества, — история философии истории.

2. Сама эта органическая теория.

3. Некоторые элементы ее методологической интерпретации.

4. За этим следовало уже непосредственное изложение и анализ истории средних веков Западной Европы (в более поздних курсах эти рамки расширяются в обе стороны — в древность и в Новое время), хотя, строго говоря, этот четвертый элемент уже выходит за пределы собственно философии истории, является самой историей. Однако в пределах этого изложения и анализа будут происходить процессы формирования и формулирования новых идей философии истории.

Выяснение этой структуры дает нам канву для изучения эволюции философии истории Грановского, хотя нельзя не подчеркнуть некоторую искусственность разделения теории и методологии, поскольку последняя является лишь интерпретацией первой и, следовательно, сама является как бы разделом теории. Сопоставим теперь органическую теорию Грановского с той характеристикой философии истории 1820–1830 гг., которую мы дали в предыдущей главе и которую сочли критерием оценки других построений в области философии истории для того времени.

Важнейшие идеи, которые мы вычленили в качестве характеристик прогрессивной тенденции развития философии истории 20—30-х годов XIX в., содержатся в органической теории, как ее формулировал Грановский: требование базирования науки истории на философии истории, идея единства исторического процесса. Этого требовала и необходимость рассмотрения истории человечества как истории народов, являющихся органическими составными частями человеческого рода, рассмотрения истории человечества как одного, и притом прогрессирующего в своем развитии, организма. Однородны диалектические идеи представителей русской философии истории 20—30-х годов XIX в. и Грановского: противоречивость как движущая сила истории, поступательность развития (исторический прогресс), законообразность исторического

процесса, т. е. идея исторической необходимости, сочетание скачкообразности и постепенности, специфика истории человечества по сравнению с историей природы и в этой связи идея единства исторической необходимости и свободы и т. д. и т. п.

В этом широком комплексе идей мы, однако, видим лишь спорадический и лишь в конкретном анализе истории интерес к главному фактору исторической жизни человечества — хозяйственной деятельности, экономике, экономическим отношениям. Отметив это, мы все же должны сказать, что синтез, которым являлась органическая теория, как ее представил своим слушателям Грановский, соединял в некоторое единство важнейшие передовые идеи философии истории своего времени (хотя и на основе исторического идеализма), которые являлись высшим достижением тогдашней отечественной и западноевропейской философии истории. Такого единства не достигали его отечественные предшественники и современники.

Говоря об органической теории как синтезе идей философии истории того времени, мы должны отметить и еще один компонент этого синтеза, являющийся и важнейшим элементом органической теории, и выражением того направления, по которому пойдет ее эволюция. Мы имеем в виду все то, что сказано выше о генезисе самого понятия органической теории, и притом не только в том смысле, что предлагалось рассматривать отдельные народы и человечество в целом как организм (эта идея и одно из ее выражений — возрастная схема истории народов содержались и в работах не только западных, но и русских предшественников Грановского). На этом участке органической теории открывалась дверь для проникновения в нее естественнонаучной традиции, идей естествознания.

В первый период деятельности Грановского это проникновение происходило главным образом в форме утверждения необходимости ассимилирования в истории и философии метода работы естественных наук. Но уже и это означало введение в органическую теорию элемента, отсутствовавшего у русских (но содержавшегося в работах западных ученых, например у А. Гумбольдта, В. Ф. Эдвардса и других) предшественников Грановского и конечно же неприемлемого для спекулятивной методологии Гегеля. В философии истории Грановского образовывалась двойственность и даже противоречие между абсолютным идеализмом, утрированным рационализмом гегельянства, с одной стороны, и естественнонаучной, отчасти даже и эмпирической методологией — с другой. Эта противоречивость будет перманентно назревать и

углубляться и не только двигать вперед философию истории Грановского, но и развивать его критицизм по отношению к Гегелю.

Осуществив синтез идей предшествующей ему зарубежной и отечественной философии истории и включив в него в некоторой мере традицию, идущую от методологии естественнонаучного исследования, Грановский стал в первой половине 40-х годов одним из лидеров русской философии истории, и именно это имел в виду Герцен, когда говорил, что в эти годы Грановскому принадлежало «главное место».

Наличие же противоречий и слабостей в его органической теории, как мы стремились показать, не лишало ее глубокого теоретического содержания и, следовательно, общественного значения.

Глава IV
ВПЕРЕД ОТ ОРГАНИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ

истории идейного развития многих ученых бывают резкие скачки, перевороты, переходы на диаметрально противоположные позиции, которые к тому же нетрудно бывает фиксировать в более или менее определенных хронологических рамках. Таков, например, был переход в конце 30-х — начале 40-х годов XIX в. Фейербаха с позиций идеализма на материалистические позиции. Таков же был переход Белинского. Можно отметить эволюцию Г. В. Плеханова от народничества к марксизму в 1882–1883 гг. и т. д. и т. п.

У Грановского не было такого резкого перехода к новой точке зрения в философии истории, да и вообще в его философских убеждениях. В отличие от своих друзей — Герцена, Белинского, Огарева — он остался на позициях идеализма до конца своей жизни.

Постепенные изменения всегда труднее констатировать, чем революционные. Предпосылки постепенных изменений вырабатываются в периодах, которые предшествуют самой эволюции. Накопление нового происходит так незаметно, что проследить его очень трудно, и сам их факт может быть оспорен. Выход из этого трудного положения можно найти только на путях конкретности изучения, определенности в констатациях изменений, четкости формулировок исходной, промежуточной и заключительной позиций.

Деятельность Грановского во второй половине 40-х — 50-х годах можно разделить на два этапа: 1) период лекционных курсов и печатных работ 1844–1848 годов, когда происходят отдельные уточнения, конкретизация и частичное развитие, нюансировка ранее высказанных идей и наметившихся тенденций, и 2) период курсов, начиная с 1848/49— 1851/52 учебных годов, и печатных работ этого времени, когда некоторые важнейшие изменения и тенденции достигают зрелости и приобретают устойчивость.

После того как сформировалась органическая теория развития человечества, Грановский активно стал выступать в печати. Оставаясь приверженцем своей системы взглядов на

исторический процесс, он акцентирует внимание на методологии исследования, достигая здесь такого уровня, что можно говорить о качественном развитии его теории.

Памятуя об условности разделения системы взглядов Грановского на теорию и методологию, рассмотрим идеи Грановского в этот период, имея в виду лишь более или менее заметные уточнения и изменения.

1. ЦЕЛЬ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

В области теории необходимо отметить прежде всего уточнение, развитие и обобщение представлений Грановского об идеале, цели развития человечества и отдельных народов, связанных теснейшим образом со взглядами на те силы и формы, которые ведут к этой цели, — взглядами на социальную борьбу, на революцию. Это уточнение и некоторое изменение можно было бы охарактеризовать как демократизацию его взглядов и большее понимание необходимости и целесообразности революционных форм общественных преобразований, которые в более общей и слабой степени мы уже отмечали при освещении социально-политических убеждений Грановского, по-видимому и оказавших это радикализирующее влияние на его философию истории. Что же касается обобщения, то в этот период Грановский формулирует свой общественный идеал, значение и место которого в истории философии истории на русской почве мы сейчас постараемся уяснить. Что целью и таким идеалом должно быть некое «гармоническое» общество, состояние свободы, об этом в общем он говорил и в университетском курсе 1839/40 учебного года, и в публичном 1843/44 года.

Но в изучаемый период эти цели и идеалы очерчены с большей определенностью, радикальностью и обобщенностью. И именно в этом пункте становится очевидной, с одной стороны, зависимость построений Грановского от идей друга и учителя его юности Станкевича, а с другой — движение Грановского вперед под воздействием как общей ситуации в Западной Европе этого времени, так и влияния его друзей 40-х годов — Белинского, Герцена, Огарева. В концепцию этой цели, этого идеала, включалось с гораздо большей настойчивостью и широтой указание на необходимость ликвидации несправедливостей, которым подвергался угнетенный народ.

Симпатии Грановского целиком на стороне народа, так что именно в этот период, как ни в какой другой, он считает революционные действия масс правомерными.

Так, в лекциях 1845/46 учебного года можно вычленить идею будущей гармонической общественной жизни — мысль, которая так занимала русских предшественников Грановского. Сам этот идеал возник, по мнению Грановского, лишь в Новое время. «В средние века, — говорил он в этом курсе, — не возникло еще понятие о полной гармонической жизни всех элементов, из которых слагается общество, — понятие, исключительно принадлежащее нашему времени» (цит. по: 6, 219). И эта идея

сопрягалась, с одной стороны, с рассмотрением истории как борьбы враждебных социальных сил, а с другой — с идеей «эмансипации», свободы людей как цели истории. Относительно первой он говорил своим слушателям: «Вся жизнь средних веков… состоит в борьбе… отдельных сил и направлений общества, из коих каждое объявляло эгоистическое требование на отдельное существование» (6, 219). Но именно здесь Грановский сосредоточивался не на «абстрактных противоположностях», не на борьбе различных социальных сил вообще, а на борьбе угнетенных против угнетателей: римское общество было основано на рабстве, и это «начало» теряло «уже всякое право на владычество»; с ним боролось начало новое, «которому суждено было изменить мир» — «это была идея эмансипации общества» (6, 226–227).

Равным образом и для средневековья проблема рассматривалась в аспекте борьбы угнетенных слоев против угнетателей. Демократические симпатии Грановского выражаются прежде всего в том, что он особенно мрачными красками изображал феодальные формы эксплуатации, социальное и имущественное неравенство, с сочувствием говорил о «восстаниях простого народа». Давая систематическое обозрение «стихий средневекового общества», представляя картину его социального развития, Грановский уделял специальное внимание освободительной борьбе городского населения как угнетенного третьего сословия против феодализма: «В начале 12 в. видим в Западной Европе три враждебных стихии: грубое, но энергичное феодальное общество, — церковь, развращенная мирскими делами, но хранящая глубокое начало; наконец, города, которые с равною ненавистью сбрасывали с себя иго Барона и Аббата» (18, 294).

В этой связи и здесь уже развивая концептуальную схему, представленную в исходном курсе, Грановский связывал идею постепенного освобождения, эмансипации народов с революционным действием. Об этом достаточно определенно мы узнаем не из университетских или публичных курсов, а из неофициальных источников, которые свидетельствуют его отношение к революции без оглядки на университетское начальство и цензуру. Еще один аспект демократизации взглядов Грановского — его трактовка личного начала в истории. Этот аспект тем более интересен, что здесь его демократические установки приходят в столкновение с консервативными и реакционными теориями. Мы имеем в виду полемику Грановского против исторической школы права и тяготевшего к ней славянофильства. Известно, что славянофильская

«консервативная утопия» видела идеал в патриархальной общине, где личность была подчинена этому сообществу. Некоторых теоретиков и историков, а отчасти даже и передовых русских людей середины XIX в., таких, как Герцен, эта точка зрения вводила в заблуждение относительно социалистических побуждений славянофильских и других консервативных теоретиков: по их мнению, эта патриархальная утопия противопоставляла эгоизму и индивидуалистической развращенности капитализма коллективистское общество, где интересы личности подчинены интересам общины. Но такой коллективизм был, по словам К. Маркса, «результатом слабости отдельной личности», а в исходной стадии личность обладала лишь «стадным сознанием» (см. 1, *19,* 404, *3,* 30).

Чтобы достичь подлинной, гармонической коллективности, коллективность стадная, а затем родовая, общинная, подминавшая под себя личность, не дававшая личности осознать и развить себя как таковую, должна быть разрушена, преодолена и, по убеждениям социалистов, позже преобразована в социалистическую и коммунистическую. Так думал Маркс, таков пафос ленинского «Развития капитализма в России». Еще раньше, в России 40-х годов, таков же был пафос полемики против подчинения личности, за ее эмансипацию, хотя и без того осознания, которое придал всей этой исторической контроверзе марксизм. Не квазиколлективистские фантазии славянофилов, а пропаганда эмансипации личности была для того времени прогрессивной позицией.

Вот с этой точки зрения нам и следует рассмотреть и оценить полемику Грановского с традиционализмом исторической школы права и славянофильства, хотя московский профессор и был вынужден обо всем этом говорить не в полный голос, а с оглядкой на цензуру и на устои официальной идеологии.

В рецензии [12] на книгу Ф. Мишеля «История проклятых пород» («Histoire de races mandites de la France et le l’Espagne, par Francisque Michel»), в которой показано, как несправедливы и реакционны могут быть народные предания, Грановский писал: «Многочисленная партия подняла в наше время знамя народных преданий и величает их выражением общего непогрешимого разума. Такое уважение к массе неубыточно. Довольствуясь созерцанием собственной красоты, эта теория не требует подвига. Но в основании своем она враждебна всякому развитию и общественному успеху. Массы, как природа… бессмысленно жестоки или бессмысленно добродушны. Они коснеют под тяжестью исторических и естественных определений, от которых освобождается мыслью только отдельная личность. В этом

разложении масс мыслью заключается процесс истории. Ее задача — *нравственная, просвещенная, независимая от роковых определений личность и сообразное требованиям такой личности общество*. Не прибегая к мистическим толкованиям, пущенным в ход немецкими романтиками и принятым на слово многими у нас в России, мы знаем, как образуются народные предания, и понимаем их значение. Смеем, однако, сказать, что первые представления ребенка не должны определять деятельность зрелого человека. У каждого народа есть много прекрасных, глубоко поэтических преданий; но есть нечто выше их: это разум, устраняющий их положительное влияние на жизнь и бережно слагающий их в великие сокровищницы человека — науку и поэзию» (3, 445–446. Курсив мой. — *З. К.*).

При первом чтении этого отрывка может показаться (и некоторым авторам, как мы сейчас увидим, показалось), что, несмотря на известную симпатию к народным преданиям, Грановский относится с пренебрежением к народной массе, третирует ее как косную и бездушную. Однако это не так. Основная мысль этого рассуждения состоит в том, что массы, как они существовали в истории и существуют сейчас, были непросвещенными, угнетенными, подчиненными «роковым определениям», т. е. невежеству и эксплуатации, о которых в своих курсах Грановский говорил с такой ненавистью. Не преклонение перед массами и этим их состоянием, перед всеми преданиями и идеями, которые рождаются в недрах этих угнетенных, подавленных, непросвещенных масс, но преобразование их посредством просвещения, «разложение» их мыслью, превращение из «косных» или слепо действующих в действующих сознательно, т. е. свободно; преобразование общества в сообразное требованиям такой личности — вот деятельный идеал, к которому зовет Грановский и к которому, по его твердому, обосновываемому в курсах мнению, идет история. Требуя развития масс, преобразования общества, Грановский критиковал современное феодально-крепостническое общество, проповедовал идею необходимости просвещения широких масс народа.

Такая трактовка позиции Грановского обосновывается его концепцией народа, его отношением к народу в плане социально-политическом [13].

В соответствии с традицией в русской философии истории Грановский ставил на первое место личность: общество должно быть построено в соответствии с требованиями личности, даже в зависимости от нее, оно должно быть «сообразным» ее требованиям. На первый взгляд может показаться, что в этой

формуле, в требовании содержится некоторая субъективистская тенденция, некоторое игнорирование объективной исторической закономерности. Может быть, это отчасти и так. Но сопоставим эту формулу общественного идеала с той, которую почти в то же самое время — несколькими месяцами позже (Грановский напечатал свою статью в журнале «Современник», 1847, № 9.— См. 3,437, прим.) — дают К. Маркс и Ф. Энгельс в «Коммунистическом Манифесте»: в обществе, которое придет на смену буржуазному, «свободное развитие каждого является *условием* свободного развития всех» (1, *4,* 447. Курсив мой. — *З. К.)*. Здесь ведь тоже «свободное развитие» личности задает условия, т. е. имеет приоритетное значение по отношению к общественному устройству. Не личность должна быть построена по некоему априорному, теоретически задуманному образцу общества, а, наоборот, общество должно быть устроено так, чтобы личность могла свободно развиваться. Мы, разумеется, ни в какой мере не хотим отождествить взгляды Грановского с убеждениями Маркса и Энгельса и. уже говорили о том, что русский профессор не был ни революционным демократом, ни социалистом. И едва ли не наиболее существенное отличие взглядов Маркса и Энгельса от их даже самых передовых предшественников как раз именно и состояло в том, что они научно разработали основы будущего общества, идеал общественного устройства — его экономическое устройство, отношения внутри общества, его политические формы.

Но все-таки хотелось бы подчеркнуть углубленность и обобщенность понимания общественного идеала Грановским и всей этой традиции поиска русской философией истории идеала, который можно было бы наименовать *личностным*.

Грановский не только обобщил, но и конкретизировал свой взгляд на будущее общества.

В мемуарах Б. Чичерина говорится о представлениях Грановского по поводу цели исторического развития, его идеале. «Совершенство есть недостижимый идеал… — вспоминал Чичерин слова Грановского. — Истинный смысл истории иной: углубление в себя, постепенное развитие различных сторон человеческого духа» (88, 14). Но какие же «стороны человеческого духа» имел здесь в виду Грановский как цель, к которой нужно стремиться даже в том случае, если приближение к ней возможно лишь асимптотически. «Свобода, равенство и братство, — говорил Грановский Б. Н. Чичерину об истории французской революции, — таков лозунг, который французская революция написала на своем знамени. Достигнуть этого нелегко. После долгой борьбы французы получили наконец свободу; теперь они

стремятся к равенству, а когда упрочится свобода и равенство, явится и братство. Таков идеал человечества» (там же). Свобода является «целью человеческого развития». Более того, Грановский «сочувствовал первым проявлениям социализма» (88, 43), хотя, по воспоминаниям Чичерина, это было сочувствие, испарявшееся, как только социалистический идеал приобретал более или менее реальные черты и как только вставал вопрос о действиях, необходимых для его достижения.

Не удивительно, что об этих свободолюбивых идеалах в сочинениях и лекциях Грановский мог говорить весьма глухо.

Мы далеки от того, чтобы на основании этих в общем-то давно известных и введенных в литературу сведений делать далеко идущие выводы о том, что около 1848 г. Грановский примыкал к числу русских утопических социалистов.

Но в контексте изучения теоретического развития Грановского мы не можем игнорировать эти сведения, поскольку они наряду с другими, только что рассмотренными показывают нам, что в важнейшем разделе философии истории — учении о цели исторического развития, об идеале общественного устройства и средствах его достижения — Грановский в этот второй период своего развития существенно конкретизирует представления и что эта конкретизация идет по линии учета интересов угнетенных народных масс, основывается на оправдании их освободительной борьбы.

Претерпело изменения и одно из самых коренных понятий органической теории — понятие народа и специфики народов относительно друг друга. Мы помним, что в основании объяснения особенности каждого народа лежала концепция «духа народа». В это идеалистическое, мистическое решение вопроса теперь проникает новая мысль.

Грановский утверждает, что в пределах самой истории и философии истории решение вопроса о народах, их специфике, «различии пород человеческих» невозможно, что это решение должно быть основано на данных естественных наук. Закон, объясняющий «начало национальностей», лишь предположительно может быть решен «историком», его догадки могут быть возведены в ранг закона только на основании физиологии, антропологии, геологии и других естественных наук (см. 3, 438). Здесь мы подходим к очень важной черте эволюции философии истории Грановского. Мы видели, что в характеристике исходной позиции Грановский провозглашал необходимость единения философии истории с естествознанием, но никакой конкретизации это положение не получало, более того, оно противоречило общей установке органической теории,

трактовке понятия «народ» в частности.

Теперь, когда роль природы в истории человечества и роль естествознания в философии истории конкретизируются, это противоречие обостряется, расшатываются сами основы идеалистической философии истории, поскольку в арсенал аргументов, объясняющих ход исторического процесса, вводится природа как одно из условий материальной жизни человеческого общества. Грановский конкретнее отдает себе отчет в том, что же, собственно, может дать естествознание философии истории, в чем оно может помочь ему уяснить закономерности исторического процесса. Он отвечал на этот вопрос так: поскольку природа служит основой жизни человека, то и его история должна быть изучена также и в аспекте изучения истории природы. Изучение естественных наук кроме возможности бесконечных улучшений во внешнем быте общества дает решение вопросов, не разрешаемых в других сферах. Речь прежде всего идет об антропологии и геологии. Говоря о «богатых заимствованиях» исторических и вообще гуманитарных наук «из области естествознания», Грановский писал: «Для историка, например, различие пород человеческих существует, как нечто данное природою, роковое, необъяснимое ни в причинах, ни в следствиях. Можно догадываться, что это различие находится в тесной связи с началом национальностей, что оно, как тайный деятель, участвует в бесконечном множестве явлений; но одна физиология в состоянии в этом случае перевести от догадки к уразумению самого закона. Во многих недавно вышедших учебных книгах истории уже находятся предварительные сведения о переворотах и состоянии самой планеты нашей, с указанием на новые открытия геологии и т. д.» (3, 438).

Развитие взглядов Грановского на естественное «различие человеческих пород» укрепляло его в гуманистической позиции относительно равноправия наций, народов и давало новые аргументы для критики национализма, которую он вел в первый период. Он вновь подвергает критике романтическую историческую школу права, шовинистических немецких историков, русских славянофилов (см. 3,445; 520–521).

Такой естественной наукой, как география, Грановский-историк давно уже пользовался и широко применял географический аргумент при объяснении исторических явлений. И теперь он, например, объясняет поселение племен в устье Одера выгодами близости моря и безопасностью от скандинавских нападений ввиду мелководья моря в этом районе (см. 3, 136–138). Впрочем, и это важно подчеркнуть, Грановский далек от стирания граней, от отождествления закономерностей

природы и истории. Связь — да, опора на естествознание — да, но не отрицание специфики закономерностей этих двух сфер действительности.

Признавая роль естественных наук в образовании юношества, он не выводил из этого (подобно сторонникам «реального» образования, с которыми Грановский вел полемику) необходимости умаления роли и значения наук гуманитарных, ибо природа «есть только подножие истории, в сфере которой совершается главный подвиг человека, где он сам является зодчим и матерьялом» (3, 439). Та же защита специфики истории по сравнению с естествознанием одушевляет его и в спорах с Герценом и Огаревым; в письме к последнему (январь 1849 г.) он пишет: «Да, история великая наука, и, что бы вы ни говорили о естественных науках, они никогда не дадут человеку той нравственной силы, какую она дает» (8, 449). Здесь мы уже коснулись проблемы эволюции Грановского в методологической интерпретации органической теории.

2. МЕТОДОЛОГИЯ ОРГАНИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ

Помимо проблемы отношения естественнонаучного и специфически исторического методов исследования истории человечества его занимают две методологические проблемы, которые и до сих пор сохраняют свое значение. Первая проблема — практической пользы исторической науки занимает Грановского всю жизнь.

Гегель, а вслед за ним Станкевич утверждали, что история не может быть руководителем при решении современных вопросов. Грановский не соглашался с этим мнением. Однако в его позиции не было достаточной ясности: он не отчленил две стороны этой проблемы, не выяснил двойственности самого употребления понятия «практическая польза». Поэтому полемика его оказалась в известной мере мнимой, и он был прав лишь в том смысле, в каком против практического значения истории не возражали ни Гегель, ни Станкевич.

Практическую пользу истории можно понимать в двух смыслах: 1) знание истории, исторических ситуаций и решений деятелей прошлого дает основание для решения подобных же современных проблем; 2) знание истории вырабатывает способность ориентации в исторических событиях, воспитывает жизненный оптимизм, поскольку показывает, что человечество выходило в конце концов из любых положений, и притом в целом, в резюмирующем ее осмыслении шло по пути прогресса.

Гегель считал, что в первом из этих смыслов история практического значения не имеет. «…Опыт и история учат, — говорил он, — что народы и правительства никогда ничему не научились из истории и не действовали согласно поучениям, которые можно было бы извлечь из нее. В каждую эпоху оказываются такие особые обстоятельства, каждая эпоха является настолько индивидуальным состоянием, что в эту эпоху необходимо и возможно принимать лишь такие решения, которые вытекают из самого этого состояния» (46, 7–8). Однако Гегель говорил это в связи с критикой *«прагматической истории»,* ее морализующей тенденции. Он при этом не отрицал ни «интересности и жизненности» подобной рефлексии, ни значения ее «при нравственном воспитании детей, чтобы внушить им превосходные правила…» (46,7). Но и, более того, все дальнейшее его изложение (оно касается форм историографии и возникающей на ее основе философии истории) показывает, что в смысле выяснения некоторого общего понимания хода исторического процесса, общих идей об истории изучение этой последней,

разумеется, имеет большое практическое значение.

Грановский же, что называется, перегибал палку и, полемизируя с Гегелем, отчасти впадал в то прямолинейное понимание пользы истории, которое было свойственно «прагматической истории» и против которого справедливо выступали Гегель и Станкевич. Такая прямолинейность в методологии приводила его к модернизации истории, к аналогиям по типу своему таким, которые вполне справедливо отвергал Гегель. Здесь Грановский утрачивал историзм или, можно сказать, впадал в вульгарный историзм. Что же касается практической пользы истории в силу ее воспитательной, ориентирующей функции, то ни Гегель, ни Грановский ее не отрицали. И потому нисколько не следовало бы Грановскому противопоставлять своего понимания гегелевскому, как это все-таки и теперь уже не перед Станкевичем в письме, а перед слушателями в университете он делал.

Курс 1846/47 учебного года Грановский начал следующими словами: «Я говорю о пользе истории. Гегель говорит, что история никогда не приносила практической пользы. Это мнение… сочинено в Германии… немцы стыдятся заглянуть назад в историю. Разумеется, немногие люди могут пользоваться уроками истории и такая польза истории была бы незначительна; но (уже) …

Цицерон называет историю magistra vitae (учительница жизни)… Ныне настало время возвратить ей снова это практическое значение; и более всего теперь обнаруживается нравственное значение истории; она преимущественно может спасти нас от малодушества во времена переходные; эта мысль уяснится при изложении времени переходного от древнего язычества к христианскому миру. И ныне жалуются на невозможность деятельности: в этом обвинении глубокое малодушие…» (18, л. 3).

Усматривая, таким образом, практическую пользу науки истории в ее нравственной пользе, в том, что она воспитывает человека в духе понимания непререкаемости прогресса общества как возрастания степени свободы, Грановский заканчивал этот курс следующим оптимистическим призывом к слушателям: «Я желал бы, чтобы лозунгом вашим было: наука просвещает, разум свободен, весело жить на свете» (18, л. 330).

В отношении современного решения этой проблемы отметим новейшее мнение, согласно которому «понятие исторического прошлого не имеет смысла вне соотнесенности его с настоящим и будущим…»; история является «лабораторией мирового социального опыта», и Гегель в связи с этим интерпретируется

гораздо шире, чем это делал Грановский (см. 39, 106; 113; 107–108). Но здесь же встает и еще более спорная, остающаяся спорной до сих пор проблема методов осознания прошлого: следует ли изучать его изнутри, само по себе, с позиций того времени, или же прошлое мы исследуем с позиций настоящего, а в значительной мере — и для настоящего?

Эта методологическая проблема не была нова для Грановского, она обозначилась для него еще в Берлине, когда он слушал лекции Ранке, представителя исторического эмпиризма, т. е. методологии, по которой история должна изучаться только на основании фактов и без привнесения в это изучение каких-либо теоретических соображений, родившихся в современности, теорий, на которые опирался бы историк. Здесь нет необходимости говорить не только о том, что такая методология невыполнима, но и о том, что она делала бы историческое исследование совершенно ненужным занятием. Но надо выяснить, как отнесся к ней теперь, в более поздний период, Грановский.

Решения этой методологической проблемы, сколько-нибудь определенной концепции у Грановского нет, а есть лишь высказывания и некоторая исследовательская практика, на основании чего можно восстановить хотя бы общее понимание им проблемы. В целом теперь он усиливает свою антиэмпирическую позицию и развивает взгляд, который в современной науке называется концепцией «актуализма»: прошлое вообще может быть понято адекватно лишь из современности, из результата как развитого прошлого, принесшего свои плоды. «История по самому содержанию своему, — писал Грановский, — должна более других наук принимать в себя современные идеи. Мы не можем смотреть на прошедшее иначе, как с точки зрения настоящего. В судьбе отцов мы ищем преимущественно объяснения собственной. Каждое поколение приступает к истории с своими вопросами…» (3, 439).

Этого, конечно, недостаточно для понимания взгляда Грановского. Более того, здесь как будто и не все вяжется, согласуется. С одной стороны, Грановский утверждает, что мы прошедшее должны понимать с современной точки зрения (это и есть «актуализм»). Но, с другой стороны, и наоборот— современность мы должны понимать, исходя из прошлого — из «судьбы отцов». Так или иначе, но никакой эмпиризм для Грановского неприемлем, между прошлым и настоящим, между методами их постижения существует теснейшее взаимодействие, так сказать, взаимообмен, и нельзя постигать прошлое только имманентно, не исходя из современной теории и методов.

Некоторые дополнительные основания для понимания того, как решал эти проблемы Грановский, и, следовательно, для характеристики его эволюции в этом отношении мы находим в его практике историка. И очень важно, что в этой практике, как, впрочем, и в самой органической теории, содержится некоторое разъяснение обоих направлений мысли Грановского (и использование настоящего для объяснения прошлого, и использование прошлого для объяснения настоящего).

В первом отношении важна сама органическая теория: именно ее принципы Грановский считает нужным положить в основание анализа истории, и, как мы помним, саму философию истории в форме органической теории он излагает своим слушателям именно для этого — объяснить, с какой точки зрения они будут изучать историю. Но и наоборот: современные вопросы — отношение к эксплуатации, обоснование идеала общественного устройства, роль и оценка революций и т. п. — Грановский пытается решать способом аллюзий, т. е. осмыслением настоящего на материале прошлого и формулированием оценок и выводов относительно настоящего с помощью оценок и выводов относительно прошлого. Но при определенной плодотворности этого «актуализма» Грановский именно здесь и впадал в те модернизации, в те заблуждения, от которых в связи с таким пониманием практической пользы истории его предостерегал Станкевич и которые в современной терминологии можно обозначить как «редукционизм».

Пытаясь в «судьбе отцов» искать объяснение судеб современности, Грановский приходит к ряду антиисторических аналогий и заключений, не фиксируя существенных социальных, исторических различий между социальными группами обществ античных, средневековых и современных ему. Рецензируя книгу Нитча «История Гракхов…», он вслед за автором полагает, что пролетариат и его нищета в современном капиталистическом обществе— явление старое, «исключительно нашему времени принадлежащее и его обвиняющее…» (3, 447). Исключая патриархальный Восток, пролетариат существовал во все времена и у всех народов (см. там же). Подобным же образом проводится аналогия между аграрным движением времен Гракхов и аграрным движением в Соединенных Штатах в 30—40-х годах XIX в. «Таким образом, — заключал эту аналогию Грановский, — чрез две тысячи лет, за пределами древнего мира поднялись вопросы, над решением которых потратили столько сил Фламинии, Сципионы, Катон и Гракхи» (3, 458).

Итак, органическая теория и ее методологическая интерпретация претерпели довольно значительную эволюцию.

Что касается изложения Грановским истории философии истории, то оно существенных изменений почти не получает, оно остается прежним изложением традиции, приведшей к органической теории, с некоторым усилением стремлений внедрить естественнонаучную методологию в историческую.

Анализ самой истории остается в целом таким, который Чернышевский (говоря об уровне тогдашней западной науки и имея в виду таких ее корифеев, как Ф. П. Г. Гизо, Ф. К. Шлоссер, Б. Г. Нибур, Т. Б. Маколей) характеризовал как преобладание политической истории, как исследование «политического и умственного элементов народной жизни…» (86, 3, 364).

В сущности так же характеризовал курсы Грановского этого периода, публикуя и комментируя их, П. Н. Милюков. По Милюкову, Грановский рассматривал историю вообще и средневековую в частности как основывающуюся на определенных идеях, «стихиях», «началах». Он писал, используя цитаты из записи курса 1845/46 учебного года, что для Грановского «вся жизнь средних веков… состоит в борьбе абстрактных противоположностей, императорской и папской власти, феодализма и духовной иерархии…» (67, 219). Грановский, по мнению Милюкова, «основных причин разрушения Рима… ищет в мире нравственных явлений» (67, 222). Милюков приводит записи, из которых видно, что сферой анализа Грановского были правовые, культурные, политические отношения и факты.

Характеризуя эволюцию Грановского во второй период в целом, можно сказать, что начавшийся процесс расшатывания идеалистических основ органической теории из-за введения в теорию и отчасти в практику исторического исследования объяснений, исходящих из учета природных условий жизни общества, углубил противоречие между этой тенденцией и исходной шеллинго-гегелевской идеалистической теорией исторического процесса.

Глава V
ВЕРШИНА

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВВЕДЕНИЯ К КУРСАМ КОНЦА 40—50-х ГОДОВ

тобы и далее проследить эволюцию взглядов Грановского, для нас достаточно будет лишь отметить новые тенденции во введениях к поздним курсам и идеи, высказанные Грановским в печати. Прежде всего — несколько общих сведений о теоретических введениях к курсам.

В середине — конце 1840-х и в 1850-х годах Грановский расширяет рамки своих чтений: он вводит в них древнюю историю и предполагает теоретическое введение. Это обстоятельство имело не просто формальное значение. Теперь в теоретические введения включалась новая проблематика: ранняя история человечества, т. е. такие проблемы философии истории, как происхождение человеческого общества, возникновение социальных форм его жизни.

Введение к курсам этого периода Грановский строит как развернутый ответ на всегда волновавший его вопрос о пользе изучения истории. В этой связи он расширяет и углубляет очерк историографии. Наука история в своем содержании и смысле, заключает он, «откроется не иначе, как через краткое обозрение исторического развития науки — от начала до настоящего конца» (19, тетр. 1, л. 2). Грановский говорит о христианских историках, о Макиавелли, Болингброке, Монтескьё. «Первой попыткой преобразовать историю» так, чтобы рассказать ее как «историю одного человека» (19, тетр. 1, л. 5), была попытка Вольтера. Само это развитие изображено теперь с некоторым уточнением. Начало философии истории возводится теперь не к И. Изелину, а к Дж. Вико, вводятся некоторые другие новые имена, например Ф. Шиллер (19, тетр. 2, л. 4).

Несмотря на эти вариации, Грановский остается приверженцем органической теории, т. е. идеалистической философии истории.

Подчеркивая, как и прежде, тесную связь истории и философии, Грановский еще энергичнее, чем прежде, критикует материалистическую философию XVIII в. (19, тетр. 1, л. 11); он считает, что органическая теория не могла достичь зрелости, пока не преодолела своей локко-кондильякской формы, а это

смогли осуществить, по его мнению, лишь Шеллинг и в особенности Гегель. Даже и в поздних своих курсах Грановский не утрачивает былого пиетета к философии истории немецкого диалектического идеализма и по-прежнему конкретно определяет роль его корифеев в ее разработке. Кант обратился к истории с новыми вопросами и определил задачу философии истории, Фихте развил «чисто этические воззрения», по которым «торжеством истории» должно быть «осуществление абсолютной нравственности» (19, тетр. 1, л. 4). «Самое верное воззрение на историю… Шеллингово. В своей философии тождества… он показал, что во всей природе как мире видимом, так и в мире духовном стоят одни неизменные законы». «Гегель докончил начатую систему Шеллинга; его философия истории есть одно из лучших произведений немецкой философии», а «его другие сочинения… высказывают его высокое понимание истории» (19, тетр. 2, л. 4–4 об.). Древняя история, по мнению Грановского, понята Гегелем лучше средней, хотя провозглашение среднего и нового времени порождением германского духа является заблуждением Гегеля. «Он истиной пожертвовал для системы; воззрение Гегеля во всяком случае неверно», — продолжает Грановский критику националистической тенденции философии истории Гегеля.

В еще более позднем курсе, по-видимому 1851/52 учебного года, он вновь упоминал о Цешковском: «Мы не имеем надобности исчислять труды, сделанные на этом поприще учениками Гердера, Шеллинга и Гегеля. Только укажем на одну брошюру польского ученого Ческовского (так транскрибировал студент Ф. Крахт в своей записи фамилию Цешковского. — *З. К.)*. В ней он принимает построение Гегеля. Но указывает на недостатки его. Далее он говорит: так как история человечества подчинена одним и тем же незыблемым законам, то и в истории, зная прошедшее, мы должны знать и будущее. Зная из естественной истории, что известные явления повторяются по одним и тем же законам, мы предвидим их. Такие же неизмененные периоды должны повторяться, как в органическом развитии, и в жизни целого человечества. История, обнимая всю жизнь народов в ее полноте, выводит из происшедшего законы для будущего, но определить наперед это будущее невозможно; она не может предсказать отдельных явлений» (22, XIV, л. 9 об.).

Таким образом, Грановский обращает внимание не только на критику Цешковским Гегеля, но и на собственное построение Цешковского как развитие философии истории Гегеля — на то, что философия истории должна заниматься и будущим и в этом смысле иметь не только познавательное значение, но и

практическую, а именно футурологическую цель. Здесь мы видим типичные черты младогегельянского отношения к Гегелю — требование преодоления созерцательности, требование придать философии действенный характер.

Но пиетет Грановского к Гегелю возрастает, и притом по вопросу, по которому Грановский, можно сказать всю жизнь, оставался критиком немецкого мыслителя. Этот вопрос — о практической пользе истории. Мы специально говорили об этом вопросе, показывая, что Грановский не очень-то разобрался в точке зрения Гегеля и сражался, в известной мере, против ветряной мельницы, а не против действительного мнения Гегеля. И теперь он это осознает. Ответ на вопрос о пользе истории и сейчас, в 1852 г., «представляет — для него — большие трудности». Теперь мысль Гегеля о том, «что исторические опыты проходят бесплодно, не оставляя поучительного следа в памяти человеческой», представляется Грановскому куда более резонной, чем прежде. «Конечно, ни народы, ни их вожди не поверяют поступков своих с учебниками всеобщей истории и не ищут в ней примеров и указаний для своей деятельности» (3, 27), соглашается он с тем, что говорил Гегель и о чем писал ему когда-то Станкевич. Она имеет нравственно-воспитательное значение и «развивает в нас верное чувство действительности» (3, 28) — формула, близкая Гегелю.

Но история имеет не только нравственно-воспитательное значение. Если говорить, правда, не о всемирной, т. е. не об эмпирической, истории, а об истории всеобщей, которую, как мы видели, Грановский не очень-то отчленяет от философии истории, то вот как теперь представляется ему роль, «польза» всеобщей истории. «Всеобщая история, — говорит он в лекции 1851/52 учебного года, — объясняет законы, по которым совершается земная жизнь человечества, указывает ему на законы… поступательного движения», и потому ее польза состоит в том, что «она объясняет жизнь человечества и законы его бытия и прогрессивного движения вперед» (22, XIV, л. 9 об.).

Таким образом, как бы на высшем футурологическом уровне Грановский говорит здесь о значении истории и философии истории уже не с позиции плоского антиисторического перенесения уроков прошлого на ситуации настоящего, а в аспекте теоретического осмысления истории, выведения законов исторического развития, знание которых помогает ориентироваться в настоящем и даже в будущем. Но, несмотря на все эти изменения, Грановский и в последний период своей деятельности отдает пальму первенства философии истории немецкого классического идеализма, в особенности Гегеля, а

следовательно, и в последние годы, не игнорируя младогегельянских тенденций в философии истории, он все-таки остается сторонником исторического идеализма Гегеля, во всяком случае осознает себя именно таковым.

Идеализм Грановского отчетливо проявляется и в решении им вопроса о роли личности в истории, что диктуется идеалистичностью понимания самой сущности исторической необходимости, которая, по его мнению, и определяет деятельность всякой личности. Необходимо видеть, писал Грановский, «в великих людях избранников Провидения», которое «из их совокупной деятельности… слагает нежданный и неведомый им вывод» (3, 241; 276). Однако, как и Гегель, в контексте диалектичности философии истории в целом Грановский понимает, что деятельность великих личностей определена потребностями эпохи их жизни, историческими потребностями народа, которым они руководят. Великие люди совершают «то, что лежит в потребностях данной эпохи, в верованиях и желаниях данного времени, данного народа» (3, 241).

Грановский видит в великих людях руководителей и просветителей народных масс, которые становятся активными историческими деятелями лишь постольку, поскольку они просвещаются. Но и обратно — великие люди постольку и велики, что они выражают чаяния и интересы массы народа. «Народ есть нечто собирательное. Его собирательная мысль, его собирательная воля должны, для обнаружения себя, претвориться в мысль и волю одного, одаренного особенно чутким нравственным слухом, особенно зорким умственным взглядом лица. Такие лица облекают в живое слово то, что до них таилось в народной думе, и обращают в видимый подвиг неясные стремления и желания своих соотечественников или современников» (3, 241–242). Постольку история великих людей отражает в себе историю эпохи и должна стать одним из основных объектов исторического рассмотрения вообще. Таково общее решение вопроса, которое Грановский давал и которое служит ему базой для исследования роли и значения отдельных великих личностей.

Важно отметить, что взгляд Грановского на пользу истории актуализировался. Продолжая тенденцию, которую мы характеризовали для второго периода как радикализацию и демократизацию, профессор непосредственно соотносил свои мысли о важности постижения уроков истории для понимания современности уже не с далеким прошлым, а с современностью. Эти мысли перерастали в идею необходимости учета

международного, и притом революционного, опыта для суждения о делах современности, т. е. учета опыта истории последних 60 лет. Конкретизация приводит его к поистине смелому шагу: он предлагает своим слушателям осознать современность, учитывая уроки европейских революций конца XVIII — первой половины XIX в.

Свой курс истории средних веков в 1849/50 учебном году он начал мыслью о связи исторической науки с этими событиями: «Ввиду великих вопросов, решаемых западными обществами, человеку с мыслящим умом и благородным сердцем нельзя не принять участия в судьбах человечества, нельзя не оглянуться назад и не поискать ключа к открытию причин тех загадочных явлений, на которые мы смотрели и смотрим с таким удивлением» (21, л. 1). Но если таким «ключом» к событиям современности является история, то и, наоборот, в соответствии с пониманием Грановским роли исторической науки «события последних 60 лет в Европе более объясняют всю древнюю историю, чем другие какие-либо исследования» (21, л. 1).

Что касается теоретической постановки постоянно занимавшей Грановского проблемы соотношения эволюции и революции в историческом развитии, то в области социально-политической (как мы видели в гл. 2) Грановский не имел твердой позиции. Он колебался, находя основания для реформизма, но как историк и философ отмечал историческую неизбежность и плодотворность революционных периодов, революционных разрешении общественных противоречий. Правда, и здесь утверждения его направлены на доказательство вредности такой революции, которая не подготовлена длительным, постепенным, т. е. эволюционным, развитием.

Грановский считал, что «переходы от одной жизни к другой совершаются постепенно и медленно и составляют отдельные поучительные эпохи истории» (21, л. 1), он полемизировал с теми, кто полагал, что решительное, революционное преобразование общества не нуждается ни в какой исторической подготовке. «Из этого воззрения можно вывести и события, ознаменовавшие XVIII в. Революция легко изъясняется таким путем. Думали, что народу можно дать искусственную ассоциацию, что можно преобразовать его историю: значит не понимали организма развития народа, не постигали его жизни, развивающейся на самобытных законах. Дать народу искусственную ассоциацию, преобразовать его зараз с ног до головы — значит отрешить его от прошедшей жизни и оставить здание без основания» (19, тетр. 2, л. 2). Этот момент вносит неясность, двусмысленность в позицию Грановского: правомерна

ли, целесообразна ли революция в том случае, если она подготовлена предшествующим ходом истории, или же она всегда неправомерна, нецелесообразна и следует ограничиваться реформами? Ясности в позиции Грановского нет. Но если даже считать, что в это время он был чистым реформистом-эволюционистом, то, принимая во внимание идеалы общественного развития, которые он проповедовал и хотел бы достичь, симпатии к народу и его освободительной борьбе, нужно признать, что такая просветительская постановка вопроса о необходимости реформирования России с учетом опыта буржуазных революций последних шестидесяти лет имела для России первой половины 50-х годов большое прогрессивное значение.

В тяжелые годы реакции после революции 1848 г. Грановский не отступал от выработанных идеалов развития человечества — эмансипации и связанного с этим обличения эксплуатации и угнетения. «…Всматриваясь ближе в это целое (Римскую империю. — *З. К.*), — говорил он в курсе 1853/54 учебного года, — проникая далее глазами за блестящую поверхность, мы увидим явление, от которого сердце стынет скорбью. С одной стороны, мы видим великое благо, с другой стороны, зародыш общего обеднения. Древнее общество было основано на античном рабстве… Античный господин смотрел на раба как на вещь. Римское право не признавало личности раба» (23, XXII, л. 26–26 об.). Характеризуя положение основной массы рабов, он говорил, что оно «было ужасное, их держали как диких зверей, на ночь их запирали в огромные дома; такому рабу не было ни брака, ни надежды на свободу. Можно представить положение общества, среди которого жили миллионы этих людей, полудиких и ожесточенных» (23, XXII, л. 28 об.). Грановский видел в облегчении участи угнетенных народных масс прогресс, «медленное развитие новых начал» (7, *11*, 93).

Конечно, все это звучало намеком на состояние русских крепостных. Но еще более прозрачными эти намеки были в тех частях курса, где Грановский говорил уже не об античных рабах, а о крепостном состоянии феодальных крестьян, выражал свои симпатии их свободолюбивым стремлениям, их борьбе с феодалами, стремясь вызвать подобное же отношение к этим событиям и у слушателей. Так, Грановский говорил, что в Нормандии в XI в. «впервые раздается слово commune, столь ненавистное баронам… Здесь впервые раб сознал свое положение и силился освободиться… крестьяне стали сходиться на сходбище, которое называли парламентами; потом устроили центральный парламент, который правил прочими. Когда

нормандские бароны узнали об этом заговоре, они скоро рассеяли эти толпы, и начальники их погибли в муках» (23, XXIII, л. 2—2об). Представляя феодализм как постоянную борьбу общественных сословий, Грановский симпатизировал борьбе городов с феодалами за вольность: «Здесь (т. е. в средневековом городе. — *З. К.)* воспитывалось начало, неизвестное древнему миру, — начало свободного труда, законности; здесь вольный труд был средством для обороны от феодализма. Не будем пристрастны, поставляя средневековую общину выше, нежели она была; здесь было много мелкого, эгоистического, но здесь хранились зародыши будущего великого развития» (23, XXIII, л. 34об.). Грановский не считал средневековые вольности городов демократическим идеалом, видел их ограниченность; «…в этой жизни было что-то узкое, робкое; из даров свободы они (горожане. — *З. К.)* уяснили только неприкосновенность имущества и были рады, что избавились от когтей феодальных владельцев»; «города, освободившись от феодального владычества, не были свободны; теперь тирания досталась общине» (23, XXIII, л. 55–55 об., 56).

Нельзя не обратить внимание на то, что в лекциях и работах этого времени Грановский высказал мысли, стоящие прямо-таки в противоречии с идеями теоретических введений к курсам этих лет: «Надобно отказаться от всякого наперед составленного построения истории — она наука», но требует не умозрительно-априорного, а «простого взгляда, отсутствия всех предрассудков, предубеждений, ложных толкований, парадоксов…». Это не означает, разъясняет Грановский, что история не связана с другими науками, она «в состав свой принимает все другие науки» (4, 88–90), и, как мы знаем по теоретическим введениям, прежде всего философию. В теоретическом сознании Грановского происходит какой-то большой сдвиг, это не просто недовольство отдельными идеями и предубеждениями Гегеля — речь идет, по-видимому, о намечающемся процессе преодоления расхождений теории исторического процесса и практики его исследования, о большем их сближении, об исключении всякого априоризма, одностороннего умозрительства, которые Грановский постоянно критиковал в гегелевской философии истории еще со студенческих лет берлинского периода, но которую он все же одобрял, принимал и пропагандировал как философию истории диалектического идеализма Шеллинга — Гегеля. Он оказывался в положении ученого, который принимал то, от чего предостерегал. В теории он принимал эти умозрительные принципы «тожества», «абсолюта», «духа народа» и т. п.

Тут, однако, наблюдается странная несообразность: оставаясь

во введении к университетским курсам сторонником гегелевской философии или, по меньшей мере, считая ее последним словом этой науки, Грановский наиболее решительно преодолевает эту приверженность в одном из самых ярких и глубоких своих сочинений — в речи «О современном состоянии и значении всеобщей истории» (январь 1852 г.), которую можно считать вообще наиболее ярким документом историософского мышления этих лет в России. Несообразность состоит в том, что в университетских лекциях, где Грановский чувствовал себя свободнее, чем в открытых выступлениях, да еще на публичном акте, где присутствовало начальство, он не делал тех далеко идущих выводов, какие сделал в речи. Выводы же эти по своему смыслу и тенденции означали распадение былого идеализма и движение к какому-то новому, еще неведомому синтезу.

2. ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ И ФИЛОСОФИЯ ИСТОРИИ

Что же и как обобщил профессор в этой речи и чего из своих мыслей, рождавшихся в процессе анализа исторических событий, все-таки обобщить не смог? Каков был материал, на котором были сделаны эти выводы и обобщения? Этот материал мы находим прежде всего в тех дополнительных разделах введений к курсу и самого курса, о которых мы уже говорили, — в разделах о происхождении и первых шагах истории человечества. «В тесной связи с историей человечества, — говорил Грановский, — находится самый театр действия (человечества. — *З. К.)* — земля» (19, тетр. 2, л. 8). Указав на руководства по геологии, Грановский выступал с критикой библейской версии сотворения мира, пытался найти решение вопроса в естествознании. «Сказанное о творении мира, находящееся в святом писании, не может удовлетворить науке, — говорил он, — ибо вообще божественное откровение не имело целью давать ответы на вопросы человеческого любознания; и потому нисколько не должно приходить в смущение, когда наука не сходится с некоторыми повествованиями Святого писания, не касающимися предметов веры» (23, тетр. 2, л. 8).

Стремясь отделить веру от знания и основать последнее на самостоятельных независимых от религии началах, Грановский заключает, что в вопросе о происхождении Земли по сравнению с Библией дают «более удовлетворительные результаты— наблюдения над самой землей» (19, тетр. 2, л. 8–8 об.). В очерке истории геологических учений с XVI в. Грановский становится на эволюционистскую точку зрения в вопросе о происхождении Земли и жизни на ней. Опираясь на авторитет Кювье и его теорию катастроф, Грановский говорит: «…геология нам показывает, что земля, т. е. ее кора и на ней развивающаяся жизнь органическая, не достигла с самого начала совершенства»; «органическая жизнь на земле развилась, когда земля была несколько образована», и «уже при большем устройстве явился человек, как ее совершеннейшее произведение» (23, тетр. 2, л. 10–10 об.).

Все это звучало и материалистически, и конечно же совершенно антиклерикально. Правда, при обсуждении следующей — антропологической — проблемы Грановский от естественнонаучной (тогда еще бедной и неразвитой) ее трактовки возвращается вновь к религиозной. Но в высшей степени характерна логика этого отступления. Пытаясь сначала

решить проблему рас и их происхождения естественнонаучно, классифицируя по антропологическим принципам племена человечества, Грановский задается вопросом о том, происходят ли все люди от одной пары или от нескольких. Верный своему историческому методу, он обращается к истории обсуждения этого вопроса в научной литературе и указывает на борьбу двух направлений в его решении. Его собственное мнение выразилось в следующем суждении: «…все великие мыслители полагали одно начало всему роду человеческому; и мы будем держаться того же мнения, полагаясь не столько на авторитет этих писателей, сколько на слова Библии. Различие племен суть не что иное, как видоизменение одного и того же рода» (23, тетр. 2, л. 11).

Таким образом, логика этого возвращения на религиозную позицию состоит в том, что если он в науке нашел достаточное объяснение вопроса о происхождении жизни и человека, то он не нашел его для решения вопроса о проблеме рас. Но по этой логике получалось, что, когда соответствующие данные наука добудет, надо будет вернуться к решению и этой проблемы. «Итак, — заключал Грановский введение, — вот почти все, что естествоведение открывает нам о первобытных временах нашей планеты и самого человеческого рода; нужно еще истории много ожидать от успеха этой науки» (23, тетр. 2, л. 11об.).

Стремление к пересмотру старых традиционных представлений, основывающееся на данных современной науки, обнаруживается и в мнениях Грановского об истории первобытных человеческих обществ, о которых он говорит в разделе «История первобытных человеческих обществ» (см. 19, тетр. 2). Грановский рассматривает здесь происхождение семьи и государства, их взаимоотношение, их развитие, происхождение и развитие различных социальных групп («каст») и т. п. Он опирается на данные современной ему антропологии, этнографии, географии, но утверждения его часто наивны, ибо в то время наука мало что знала об этом предмете. И здесь Грановский иногда выступает как противник «материальной философии», прибегает к авторитету Библии.

Рассмотрение проблем первобытного общества Грановский начинает с вопроса о древности цивилизации. По этому поводу, говорит он, существовало два мнения. Первое, выдвинутое романтической школой XIX в., заключалось в том, что человечество утратило былую цивилизацию. Согласно второму мнению, древние люди были дикими, а цивилизация возникла в ходе истории. Теория романтической школы «не подтверждается ни фактами, ни сказаниями Святого писания. Но также трудно согласиться со вторым мнением; оно есть плод материальной

философии, оно представляет первобытного человека… без всякого внутреннего содержания и образующегося под внешним влиянием» (19, тетр. 2, л. 11 об., тетр. 3, л. 2). Грановский сам не решает этого вопроса, ссылаясь на отсутствие достаточных научных данных, он отмечает лишь, что культура Америки и Океании, первобытные культуры вообще стали объектом исследования «не a priori, а по данным географии и этнографии современной» (19, тетр. 3, л. 2 об.)[14].

В вопросе о происхождении общества и государства Грановский солидаризуется с Аристотелем, который, по формулировке московского профессора, «говорит, что государство, по своей природе, существует прежде отдельных лиц. Значит, человек рождается уже готовым членом государства» (19, тетр. 3, л. 3).

Согласно утвердившейся в то время в науке точке зрения, Грановский считал, что «государству предшествует семейство, самая естественная форма общежития» (19, тетр. 2, л. 3). Мнения, что «семья» есть «отношение, с самого начала включающееся в ход исторического развития» и что она «вначале была единственным социальным отношением», придерживались в «Немецкой идеологии» К. Маркс и Ф. Энгельс. Но уже в «К критике политической экономии» Маркс уточнял это мнение и считал «частную семью» развившейся из «родовой» (1,3, 27, 73, 37, прим.). «До начала шестидесятых годов, — писал позже Энгельс, как бы объясняя свою и Маркса позицию 40-х годов, — об истории семьи не могло быть и речи. Историческая наука в этой области целиком еще находилась под влиянием Пятикнижия Моисея. Патриархальную форму семьи, изображенную там подробнее, чем где бы то ни было, не только безоговорочно считали самой древней формой, но и отождествляли — за исключением многоженства— с современной буржуазной семьей» (1, 22, 215); «изучение истории семьи начинается с 1861 г., когда вышла в свет работа Бахофена „Материнское право“» (там же).

На данных современной науки Грановский рассматривал вопрос о переходе от семьи к государству, о двух формах государства — «патриархальной и кастической». Патриархальная семья размножается в племя, потом в род[15]. Разрушение патриархального состояния происходило по причинам экономическим и социальным: «Столкновения племен кочующих за пастбища и стада рождали войны, и неминуемое следствие войны есть рабство побежденных. Тогда патриархальная форма правления становится неудовлетворительной… С другой стороны, полигамия, издревле введенная в Азии, нарушает, так сказать, родственные отношения между мужем и женой, а вследствие того

и детей к отцу. Таким образом, патриархальное правление при большом народном развитии становится невозможным» (19, тетр. 3, л. 4 об.). Конкретнее развитие патриархальной семьи Грановский прослеживал на истории Китая, Вавилона, Ассирии, Персии, Мидии.

Для объяснения происхождения «кастического устройства» и самих каст наука, по мнению Грановского, обладает еще меньшими историческими данными, нежели для объяснения патриархального. В Индии и Египте это устройство — исходный факт истории. «…Должно предположить, — говорит Грановский, — что касты образовались в древнейшие эпохи у народов, еще живших наравне с природой, и притом занимавшихся земледелием, а не скотоводством» (19, тетр. 3, л. 5). Пытаясь и здесь в экономическом быте искать объяснения истории, Грановский выводит различие каст из различия общественной деятельности их представителей, закрепляемой по наследству. Подражая преемственности в природе, «народ должен был, естественно, устроить преемственность ремесла — пастуха, воина и жреца. И это даже легко объяснимо по опыту; отец занимается известным ремеслом, сын его, живя с ним, помогает ему, учится у него и по смерти отца занимает его место» (19, тетр. 3, л. 5–5 об.).

Из соотносительной общественной значимости видов деятельности выводит Грановский преобладание одной касты над другой. «В гражданском обществе, — говорит он, — первенство всегда приобретается знанием, опытностью, оружием и богатством. Таким образом, каста жрецов естественно должна была стать выше, как посредница между богами и людьми, и притом, как каста людей более образованных». Силу служителей культа Грановский выводил традиционным образом из обмана: жрецы «пользовались невежеством народа, приписывали себе власть входить в совещание с богами, прикрывали обман таинственностью и т. д.» (19, тетр. 3, л. 5 об.). Царь в этих обществах отнюдь не был помазанником бога; он избирался воинами, и функции его ограничивались жрецами. Таковы две первоначальные государственные формы в истории человечества.

Грановский отмечает, что формы народной жизни гораздо более разнообразны, и это разнообразие он не берется объяснить. Однако, намечая решение этого вопроса, Грановский уходит от той объективно-идеалистической и в конце концов мистической конструкции, которую он создавал в начале 40-х годов. Согласно его взгляду того времени, особенность народов определялась особенностью их «духа», их «идеи», происхождение которых «непроницаемо, сущность таинственна…» (4, 43). Теперь он

пытается объяснить различие форм народной жизни уже не различием их таинственного «духа», а с помощью «науки», исходя из условий их жизни, хотя он далек от того преувеличения роли «географического фактора», которое было свойственно некоторым писателям XVIII в. «В чем же заключается национальная особенность народов? — спрашивал Грановский. — Этого наука еще не объяснила. Одно из важнейших условий развития государственного быта народа — это географическое положение страны, поэтому связь географии с историей очень важна. Ее уже высказал Аристотель; в XVIII в., в котором преобладала материальная философия, Монтескьё приписывал слишком большое влияние почве на развитие человека; и это потому, что не сознавал живого организма в каждом народе» (19, тетр. 3, л. 6—боб.). В другой записи мы читаем: «Из предыдущего изложения мы видим, в какой тесной связи находится человек с природой, какое влияние имеет на него почва, климат и вообще все географические условия» (20, л. 2).

Мы проследили идеи введения к курсам древней истории и первого его раздела потому, что в них отчетливо проявляются тенденции мысли Грановского конца 1840-х и начала 50-х годов, зародившиеся в курсах и печатных работах более ранних лет. Они важны, поскольку показывают путь распадения идеализма органической теории изнутри.

В целом эту тенденцию поиска нового объяснения исторической закономерности можно было бы охарактеризовать как возрастание значения, которое Грановский придавал материальным условиям жизни общества при объяснении его развития (его «прогресса», пользуясь его терминологией) и функционирования. Сами эти материальные условия, по Грановскому, весьма многообразны и по-разному воздействуют на жизнь и историческое развитие народов. Как же обобщил Грановский то, что нам уже известно, и что было сделано Грановским в его речи 1852 г.?

Прежде всего о выводах, которые Грановский сделал из применения данных естествознания к изучению истории. Он стремился обобщить то, что по этому поводу было сказано не только им самим, но и различными учеными — знаменитым немецким историком Б. Г. Нибуром, которому Грановский посвятил специальную статью, вслед за ним историками К. Ш. Фориелем, братьями Тьерри и другими учеными в доказательство исторического значения «человеческих пород»; учесть то, что известный натуралист В. Ф. Эдвардс выяснил в вопросе о «физиологических признаках человеческих пород»; использовать то, что сделали ученые в области этнографии, а также Ш. Л.

Монтескьё, Риттер, К. М. Бэр — в вопросе о влиянии «географических условий, климата и природных определений вообще на судьбу народов» (3, 19–20). Изложив эти данные науки 30—40-х годов XIX в., Грановский делает вывод: «…история, по необходимости, должна выступить из круга наук филолого-юридических… на обширное поприще естественных наук». Он говорит о «важности естествоведения в приложении к истории», утверждает, что существует «естественная» необходимость, «лежащая в основании всех важных явлений народной жизни» (3, 19; 23).

Центром этого обобщения является понятие «естественной необходимости». Грановский, не склонный к дефинированию, не определяет это важнейшее для его взглядов понятие. Но мы можем уяснить его и дать его определение как положительно, так и негативно — из противопоставления прежним его представлениям об исторической необходимости. Это негативное определение может быть извлечено из противопоставления естественной необходимости, необходимости логической, выводимой «из законов разума», т. е. той необходимости, которая утверждалась шеллинго-гегелевской философией истории, необходимости, определяемой «абсолютным духом». Так вот, «естественная необходимость» не есть «логическая».

Но если она не есть «логическая», то какова же она, каково ее позитивное определение? Ответ на этот вопрос вытекает как из приведенных материалов курсов конца 40-х — начала 50-х годов, так и из контекста, в котором Грановский говорит о естественной необходимости в речи. Естественная необходимость в этих контекстах выступает как необходимость, вытекающая из зависимости человечества от антропологических, физиологических, этнографических, географических условий его существования. Это, конечно, более широкое понятие, чем необходимость «природная», поскольку здесь принимается во внимание не только природа в смысле земли и физиологии человека, но и этнография, в известном смысле — социальные отношения (вспомним «касты» и т. п.).

Такова эта «естественная необходимость», и именно относительно нее Грановский и заключает: эта необходимость «принадлежит к числу главных, определяющих развитие наших судеб, двигателей истории» (3, 23). Это уже принципиально отличный от обобщений предыдущих лет вывод. Сопоставление позиций трех периодов дает отчетливое представление о линии эволюции во взглядах Грановского.

В курсе 1839/40 учебного года совершенно определенно заявлено, что история развивается под воздействием абсолютной

идеи, ее эманаций в «духе народа» и независимо от «внешней (по отношению к „абсолютному духу“. — *З. К.)* необходимости». Во втором периоде Грановский отходит от столь определенного объективного идеализма, допуская, что поскольку природа является «подножием» истории, то целый ряд проблем, как, например, проблема народа, может быть решен лишь с учетом таких естественных наук, как антропология, геология, география. Наконец, теперь, на заключительном этапе, Грановский приходит к выводу, что именно естественная необходимость является главной основой и двигателем истории.

Этим позициям в теории исторического процесса соответствовали позиции относительно философии истории Гегеля: от критики отдельных положений ее в первом периоде Грановский переходил к углублению этой критики во втором, а в третьем периоде уже определенно высказывал неудовлетворенность его философией истории в целом.

Ранее Грановский утверждал, что после Гегеля философия истории не двинулась вперед (если не считать некоторых идей Цешковского). Затем он писал об отдельных идеях историков, которые в сущности пошли далее Гегеля. В речи же говорится о целой плеяде зарубежных историков, высказавших новые идеи, и о необходимости создания новой теории. Преобразования здесь только начаты, многое еще неясно, не изведано. И среди возникающих теперь теоретических проблем особенную важность имеет заботившая его и ранее проблема специфики исторического относительно естественного.

Естественная закономерность, думает Грановский, есть одна из главных, «определяющих». Одна, но не единственная, она отнюдь не исчерпывает всей совокупности закономерностей исторического развития, и потому ее постижение и понимание ее значения отнюдь еще не решает дела создания современной и совершенной теории исторического процесса. Помимо естественной закономерности, выражающей в основном связь истории и природы, существуют еще специфические законы истории, ибо ее «содержание… составляют… дела человеческой воли, отрешенные от их необходимой, можно сказать роковой основы» (3, 23), той самой основы, которая и регулируется «естественной необходимостью». Но основа истории не есть еще сама история во всей своей полноте и специфике. В поисках полноты и специфики Грановский, правда, ссылался на Творца, Провидение, но они по существу ничего не объясняют в истории, их действия не улавливаются методами, которыми теперь Грановский считает необходимым изучать историю. Творец и Провидение не «задействованы» в его теории исторического

процесса, и, как мы сейчас увидим, фактически он ищет объяснения специфики истории не на этой религиозно-мистической почве.

И вот на основе этих двух выводов — что существует естественная необходимость и некая специфическая историческая — Грановский переходит от известной нам критики слабых сторон философии истории Гегеля к отрицанию философии истории вообще. «Слабая сторона философии истории, в том виде, в каком она существует в настоящее время, заключается, по нашему мнению, в приложении логических законов к отдельным периодам всеобщей истории» (там же). В «умозрительном построении истории», провозглашающем «логическую необходимость», «нет места» ни «естественной» необходимости, ни лежащим вне ее специфическим закономерностям истории. Правда, теперь даже и эту «логическую необходимость» Грановский трактует более рационально, нежели в первых своих лекциях, где она была сильно мистифицирована. Теперь в сущности логическую необходимость он понимает в значительной мере как диалектическую и в этой связи проявляет глубокую мудрость. Он высказывает здесь правиль ную мысль, что диалектику, ее законы нельзя рассматривать как всеобщий инструмент исследования, заменяющий собой конкретные исследования специфического материала, вскрытие специфических закономерностей. Но в то же время от этих всеобщих закономерностей не следует открещиваться как от не имеющих отношения к науке и к способам постижения действительности. «Общим законам», т. е. логической или диалектической необходимости, подчинена земная жизнь человечества, и с их помощью постигаются цели исторического развития. Но «всякое покушение… провести резкую черту между событиями логически необходимыми и случайными может повести к значительным ошибкам и будет более или менее носить на себе характер произвола…» (3, 24).

Итак, для определенного употребления необходимо оперировать и общими законами, логической необходимостью, но они не могут заместить, не могут вытеснить специфических законов истории, которые должны объяснять конкретные исторические события.

Чрезвычайно важна вот какая особенность дальнейших рассуждений Грановского. Он утверждает, что философия истории дискредитировала себя по опытам своих приложений, и это сказано в столь общей форме, что ничто не мешает нам понимать эти слова как оценку и собственного его теоретического развития, т. е. понимать их не только как критику других, но и

как самокритику: его собственный опыт приложения философии истории к практике исторического анализа показывает несостоятельность философии истории в этой ее форме. Поэтому мы вправе считать приведенное место из речи о слабой стороне философии истории объяснением того, почему сам он, так долго представлявший ее своим слушателям высшей наукой, объясняющей историю, а Гегеля — как наиболее крупного и последнего ее представителя, теперь отказывается от той философии истории, которую сформулировал Гегель.

Именно в этом контексте, в таком понимании мы читаем в речи следующие рассуждения: «С конца прошедшего столетия философия истории не переставала предъявлять прав своих на независимое от фактической истории значение. *Успех не оправдал этих притязаний. Скажем более, философия истории едва ли может быть предметом особенного, отдельного от всеобщей истории изложения* (курсив мой. — *З.* К.). Ей принадлежит по праву глава в феноменологии духа, но, спускаясь в сферу частных явлений, нисходя до их оценки, она уклоняется от настоящего своего призвания…» (3, 24). «Лучшим подтверждением высказанного нами мнения, — продолжает он, — о невозможности отдельной философии истории могут служить чтения Гегеля об этом предмете… Это произведение знаменитого мыслителя не удовлетворило самых горячих его почитателей, потому что оно есть не что иное, как отрывочное и не всегда в частностях верное изложение всеобщей истории, вставленной в рамку произвольного построения» (3, 24–25).

Не присоединяется Грановский и к направлениям, возникшим как реакция на выявившийся к середине XIX в. кризис философии истории. Это сформировавший во Франции целую школу «фатализм», который «снимает с человека нравственную ответственность за его поступки, обращая его в слепое, почти бессознательное орудие роковых предопределений, и эмпиризм — „повествовательная школа“, которая (особенно в лице ее представителя — французского историка Баранта) не поднимается „выше источников“ и выступает против „цели науки“ — „понять… внутреннюю истину волнующихся в бесконечном разнообразии явлений…“» (3, 25; 26).

Но что же предлагает сам Грановский, отказавшись от гегелевской и вообще умозрительной философии истории, от фатализма и эмпиризма? Тут ясности нет. Грановский не предлагает отказаться в области истории от теории вообще, от необходимости выявлять общие законы истории, и этим он резко противостоит развивающемуся в те годы эмпиризму и позитивизму, к числу сторонников которого его иногда относили.

Он критикует подобное предложение «повествовательной школы». Более того, вчитываясь в формулу отречения от философии истории, мы видим, что Грановский не отрекается от нее самой, но лишь от ее гегелевской формы, от того, чтобы она была «предметом особенного, отдельного от всеобщей истории изложения».

Следовательно, если излагать ее не отдельно, а вместе с историей, т. е. в форме всеобщей (отличающейся от всемирной) истории, то она имеет право на существование? По-видимому, так, ибо Грановский очень определенно и очень настойчиво (по меньшей мере трижды на протяжении речи) говорит о предмете философии истории: ее «настоящее призвание» заключается «в определении общих законов, которым подчинена земная жизнь человечества, и неизбежных целей исторического развития», в достижении «ясного знания законов, определяющих движение исторических событий», в «уяснении исторических законов» (3, 24; 26; 28).

Но как же можно столь сложную задачу решать не «в отдельном от всеобщей истории изложении», а в недрах исторического изложения, всегда прикованного к истории того или иного народа в тот или иной период времени? В такой форме это невозможно. Да и вообще ученику Гегеля не могло не быть известно неоспоримое положение Гегеля, сохраняющее свое значение до сих пор, что формой науки является система. Но система не может быть развита между прочим, как нечто побочное относительно основного, главного изложения. Отвергая старую форму постижения «общих законов» исторического развития — философию истории, Грановский не обретает новой, адекватной, по его мнению. В данном контексте пафос разрушения превалирует у него над пафосом созидания. И он видит некоторые пути, на которых, по его мнению, надо искать это новое. Это прежде всего поиск адекватного метода. «Ни одно из исчисленных нами воззрений на историю не могло привести к точному методу, недостаток которого в ней так очевиден» (3, 26). Ясно, правда, что надо «идти далее» по пути освоения в науке истории «способа исследования», принятого в «естествоведении». Но именно потому становится не менее ясной и недостаточность этого способа, ибо «у истории две стороны» — «свободное творчество духа человеческого» и «независимые от него, данные природою, условия его деятельности». Вторая сторона подвержена «естественной необходимости», а первая специфическая? Выход из кризиса, путь, по которому следует идти в поиске новой теории исторического процесса, полагает Грановский, — это путь синтетической теории, которая охватила

бы и естественные и специфические закономерности. «Новый метод должен возникнуть из внимательного изучения фактов мира духовного и природы в их взаимодействии. Только таким образом можно достигнуть до прочных, основных начал, т. е. до ясного знания законов, определяющих движение исторических событий. Может быть, мы найдем тогда в этом движении правильность, которая теперь ускользает от нашего внимания» (там же).

Как настоящий ученый, Грановский обрисовывает всю трудность ситуации и нисколько не претендует на постижение абсолютной истины. Напротив, он ясно понимает, что, разуверившись в старой философии истории, он сейчас может лишь в самом общем виде сформулировать задачу будущей теории: она должна быть теорией постижения «законов, определяющих движение исторических событий», учитывающей связь истории с природой. Наметив некоторые связи истории человечества с природой, он заполняет пустоту в постижении специфики общества фразеологией о творце и провидении, которая, разумеется, могла удовлетворить лишь слушавшее его начальство, но не может считаться его собственным, действительным мнением о специфике исторического развития. Но обобщения, сделанные в речи, не вбирают в себя того богатства материала и, так сказать, малых, частных обобщений, которые Грановский делает в самом процессе исторического анализа относительно специфических законов исторического развития.

Мы имеем в виду прежде всего то, что пишет Грановский о социально-политической стороне исторической жизни человечества и что должно было бы быть выведенным за пределы «естественной необходимости», если вместе с Грановским считать, что она относится лишь к «роковой основе» истории; о расслоении общества на «касты» — сословия, классы, о их борьбе, о постепенностях и революциях. Все это, конечно, специфика истории, и притом не привнесенная извне, как у Гегеля («логическая»), а ее собственные, имманентные законы. Однако всему этому огромному материалу, которым Грановский владеет применительно к истории человечества от первобытности до эпохи европейских революций середины XIX в., в его обобщении места не нашлось.

3. ЭКОНОМИКА И ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

Но есть и еще одна область, на которую также был обращен взор московского профессора в последние годы деятельности, когда он искал специфические законы исторического развития, но которая также не попала в сферу его обобщений.

Грановский рассматривал состояние и причины падения римского мира. Описывая политическое состояние Рима в IV и v вв. н. э., он отмечал, что высшим классам, администрации противостоял народ — рабы и свободные, которые все более и более впадали в пауперизм вследствие обогащения высших классов. Развивая мысли прежних курсов и связывая падение Рима с пауперизмом, объясняя это падение социальными противоречиями, Грановский в то же время говорил: «Самое величайшее зло, под которым погиб древний мир, это была нищета, пауперизм» (21, л. 11). Однако, не ограничиваясь этим решением, Грановский искал объяснений тому же факту в характере производительной деятельности, на которой базировался древний Рим, в его «производительных силах» (см. 7, *9,* 26–27). «Вообще нужно держать в памяти, — говорил он, — что древний мир, при всей наружной красоте своей, был непроизводителен в материальном смысле. Он не умел владеть материалом, веществом, как владеют им новые народы. Можно сказать, что в течение всей древней истории суммы, богатства не увеличились, но только передвигались» (21, л. 11).

Чем же объяснял Грановский застойный характер античного производства — недостаточное использование прекрасных римских дорог, чисто военный характер «мануфактурной промышленности», принадлежавшей государству, и почти полное отсутствие частных мануфактур? Говоря современным языком, он объяснял все это рабским способом производства, производственными отношениями, господствовавшими в Риме: «…частные лица не имели нужды в этих фабриках, ибо при той системе рабства, которая господствовала в Римской империи, каждый — самого малого состояния— человек имел раба, двух, трех, которые снабжали его всем. нужным… раб был для древнего мира нечто вроде наших машин в еще более развитом употреблении. Вы видите, следовательно, общество без производительной мануфактуры, без торговли в ее настоящем значении» (21, л. 11 об.). Этим паразитическим характером римской экономики, способа производства объясняется и то

обстоятельство, что производительные силы общества находились в состоянии стагнации, «производительные силы ее (Италии. — *З. К.*) были ничтожны не потому, что природа отказала ей в том, но исторические условия сложились так невыгодно, что она должна была питаться извне как чужеядное растение и зато и должна была пострадать» (7, 9, 26). Если современный мир стремится освободить человека с помощью машин, то подобной цели, ввиду экономической (рабской) структуры римского общества, не было в античном мире (см. 21, л. 21 об. — 22).

Наряду с этим ремесленно-промышленным застоем шел процесс централизации земледельческих участков, образования небольшого числа владельцев крупных латифундий, с одной стороны, и городского неимущего плебса — с другой; «собственность сосредоточивалась в немногих руках, в руках богатых землевладельцев, обрабатывавших землю рабами или отдававших ее на оброк колонам» (21, л. 12).

Довершала это разорение основной массы римского населения система налогов, которая «делалась страшным бичом народа», особенно земледельцев, и не затрагивала относительно малочисленный привилегированный слой военных, служителей культа; среднее сословие — эта опора римского государства — «погибло под этим гнетом» (21, л. 13 об.).

Экономика общества определила его социальную структуру, в которой отразились эти глубокие общественные противоречия: «…богатые аристократические фамилии владели почти всею землею, и число этих фамилий было незначительно; масса народонаселения состояла из пролетариев, живших в Риме и пользовавшихся подаянием правительства, и рабов, делавших невозможным свободный труд и свободные ремесла» (7, 9, 30).

Грановский рассматривал также положение римских провинций, социальную статистику Рима, обнаруживал эксплуататорский характер высшего слоя общества. Он показывал, как из этих социальных противоречий возникала социальная борьба — движение рабов, борьба с ним (Спартак — Красс) (см. 7, 9, 26–27).

В силу всех этих причин Рим я течение многих лет ослаблялся изнутри, что и сделало возможным его завоевание варварами. Не удивительно, что при таком внимании к экономическим проблемам Грановский говорил (в курсе 1849/50 учебного года), что историк должен изучать политико-экономические науки, использовать статистику. Во введении к учебнику (1855) он говорил о роли политической экономии для исторической науки: нельзя «изложить надлежащим образом события трех последних веков, не освещая их светом

политической экономии…» (3, 599) [16].

Подобные же тенденции заметны и в истолкованиях истории германцев (которую Грановский излагал вслед за историей распадения Рима) да и вообще средневековья[17]. Грановский связывал крушение феодальных отношений с изобретениями, прежде всего с открытием пороха, который, преобразуя военное дело, тем самым преобразовывал и общественные отношения: «… с изобретением пороха латы не спасали уже рыцаря от пули, ядро пробивало гранитную стену, и рыцарство, несмотря на всю свою средневековую спесь, должно было стать наряду с другими сословиями, войти в состав общества, как покорный член и гражданин его. Прибавим к этому, что при огнестрельном оружии система войн необходимо должна была измениться: так как обращение с этим оружием требовало некоторого навыка и постоянного упражнения, то весьма естественно явилось особое военное сословие. Это был один из могущественнейших рычагов при последующем развитии Европы» (22, л. 239–240).

В своей докторской диссертации Грановский писал о перевороте, который был произведен «введением огнестрельного оружия в общественных отношениях Западной Европы. Только пушка могла вразумить феодального хищника и доказать ему существование обязательного даже для него закона» (3, 179). «Без замка, — писал он в другом месте того же сочинения, — без рыцарского вооружения феодальный порядок вещей был бы невозможен. Эти чисто внешние, вещественные условия определили на несколько веков перевес ленной аристократии над утесненными ею классами общества» (3, 193). Напомним, что К. Маркс использовал для доказательства истинности материалистического понимания истории примеры из области военной организации общества (см. 1, 29, 154, *31*, 197).

Теперь мы можем назвать тот ряд объяснений Грановским хода исторических событий, который также не попал в его теоретические обобщения, и констатировать, что канва, по которой мы прослеживали эволюцию Грановского в курсах заключительного периода, его представление об исторической закономерности в форме конкретного объяснения и истолкования исторического процесса на основании различных элементов материальной жизни общества, привела нас к еще одному ряду условий жизни общества — условиям экономическим. Экономика, «производительность в материальном смысле», «производительные силы», т. е. зависимость явлений исторических от материальной жизни общества в смысле его экономической жизни, — вот область, к которой Грановский все более пристально обращал свой взор в поисках объяснения

явлений общественной жизни, специфических (относительно природных) закономерностей их развития.

Если сделать выводы из изучения эволюции философии истории Грановского за последний период его деятельности, а следовательно, и эволюции вообще, то получится следующее: Грановский приходит к пониманию неудовлетворительности прежней идеалистической, гегелевской философии истории и в поисках новой теории обращает свой взор на материальные условия жизни общества. Однако теоретически, в форме обобщения он осознает эти условия лишь как природные. Но за пределами прямых, сделанных им самим обобщений как на фактическую опору анализа истории он обращает внимание на закономерности, связанные с условиями социально-политическими и экономическими.

4. ГРАНОВСКИЙ И ЧЕРНЫШЕВСКИЙ

Характеризуя деятельность Грановского в целом, без рассмотрения эволюции, Чернышевский, его великий младший современник, оценивал его как ученого, стоящего на самом высоком уровне во всемирно-историческом, а не только русском масштабе. Грановский, писал Чернышевский, «несомненно был великим ученым» и являлся «одним из первых историков нашего века, ученым, который был не ниже знаменитейших европейских историков; что в России не имел он соперников, это всегда было очевидно для каждого» (86, 3, 353; 355). Грановский, по мнению Чернышевского, в известном отношении стоит выше Гегеля, выше Шлоссера, Ранке, Маколея и других европейских историков, ибо он «видит, что даже и та более широкая программа науки, которая у Шлоссера и Гизо до сих пор остается смелым нововведением, должна быть еще расширена», и потому Чернышевский усматривал в идеях Грановского «глубокое и новое содержание и самостоятельную идею», считал его одним «из замечательнейших между современными европейскими учеными по обширности и современности знания, по широте и верности взгляда и по самобытности воззрения» (86, 3, 364; 363; 364).

Но за что же так высоко ставил Чернышевский, казалось бы, скромного по своим печатным трудам московского профессора? Какие его идеи он считал столь глубокими, самобытными и современными? На эти вопросы Чернышевский отвечал весьма определенно. У Гизо, Шлоссера и других крупнейших современных Грановскому историков «преобладает в рассказе» политическая история, «между тем, как на деле она имеет для жизни рода человеческого только второстепенную важность»; «о *материальных условиях быта, играющих едва ли не первую роль в жизни, составляющих коренную причину почти всех явлений и в других, высших сферах жизни*, едва упоминается…». Грановский, по мнению Чернышевского, видит, что историческая наука «должна стать на *новом, прочном основании строгого метода,* которого ей до сих пор недостает» (86, *3,* 356; 357; 364. Курсив мой. — *З. К.*).

Итак, понимание не только роли великих личностей, социальных и политических факторов исторического развития, но и роли «материальных условий быта» как определяющей («первая роль в жизни», «коренная причина всех явлений») силы истории — вот то научное достижение Грановского, которое позволяет Чернышевскому так высоко оценить его [18].

Совершенно очевидно при этом, что Чернышевский

подразумевает под «материальными условиями быта» отнюдь не только и даже не столько природные условия. Для него эти последние не играют такой роли. Да и названные им западные ученые, выше которых, по его мнению, стоял на лестнице научной иерархии Грановский, были велики не тем, что понимали роль природы в истории человечества, а тем, что, как сам же Чернышевский и говорил, они выдвигали на первый план политическую, социальную историю. И поэтому мы полагаем, что Чернышевский имеет в виду те «материальные условия быта», которые мы выявили в лекциях Грановского последних лет его жизни, — условия экономической жизни.

Но вот вопрос: как мог знать Чернышевский об этих идеях Грановского, если эти условия не попали в обобщение, с которым Грановский выступил в печати? Чернышевский конечно же знал лекции Грановского (которые в то время — в первой половине 50-х годов — имелись во многих десятках экземпляров у его учеников и ходили по рукам) [19], ибо отмечал, что полностью оценить взгляды Грановского можно, лишь ознакомившись с его лекциями: «Для того, чтобы характеристика их (идей Грановского. — *З. К.)* духовного единства была полна и всестороння, надобно дождаться… издания его университетских курсов» (86, 3, 366. Ср. 363). И если иметь в виду, что Чернышевский писал все это о Грановском в период, когда формирование его собственных философских взглядов, в том числе и на закономерности общественного развития, еще не завершилось, и что он нашел у Грановского идеи, которых, как он сам писал, не было у крупнейших западных авторитетов в этой области, то отсюда следует, что в формировании этой стороны его воззрений значительную роль сыграла философия истории Грановского.

Вполне соглашаясь с Чернышевским в оценке идей Грановского, мы хотели бы выразить их в той терминологии, которую предложил более века тому назад Ф. Энгельс для характеристики воззрений западноевропейских современников Грановского, которые шли по пути выработки материалистического понимания истории. «Если материалистическое понимание истории открыл Маркс, — писал Энгельс, — то Тьерри, Минье, Гизо, все английские историки до 1850 г. служат доказательством того, что дело шло к этому, а открытие того же самого понимания Морганом показывает, что время для этого созрело и это открытие *должно* было быть сделано» (1,*39,* 176).

И если Чернышевский ставил Грановского в ряд с некоторыми из названных Ф. Энгельсом и другими

западноевропейскими историками и даже выше их как раз в отношении его приближения к пониманию роли «материальных условий быта», необходимости выработки метода исторического исследования и изложения, адекватного этому пониманию, то мы вполне можем включить Грановского в число тех историков, которые, по мнению Ф. Энгельса, шли в середине XIX в. до и независимо от К. Маркса к открытию материалистического понимания истории. А это значит, что мы имеем все основания дополнить формулу Энгельса, присоединив к его словам «все английские» слова «и некоторые русские».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

се изложенное дает нам возможность определить место и роль Грановского в истории русской культуры, разумеется в том аспекте, в каком мы изучали его взгляды, — в аспекте философии истории.

Его место определяется тем, что он был (наряду с Белинским и Герценом) одним из лидеров русской философии истории 40-х — первой половины 50-х годов XIX в. Развивая и обобщая то, что было сделано его отечественными и зарубежными предшественниками, в тесном взаимодействии с Герценом, Огаревым и Белинским Грановский в начале 40-х годов сформулировал концепцию философии истории, стоявшую на уровне мировой домарксистской философской мысли. Хотелось бы специально добавить к этому, что Грановский развил и обобщил русскую традицию в философии истории, о которой мы говорили во 2-й главе.

Подчеркивая эту непосредственную и опосредствованную связь философии истории Грановского с идеями его русских предшественников, мы должны со всей определенностью сказать, что главные теоретические импульсы, формировавшие его органическую теорию, все-таки исходили от его западных учителей, и мы отчетливо видели это по его историко-теоретическим введениям к лекционным курсам.

Что же касается развития философии истории Грановского после того, как он сформулировал исходный вариант органической теории, то оно шло в том направлении, в каком шло развитие отечественной (в трудах Герцена, Белинского, Огарева, а отчасти позже и Чернышевского) и зарубежной, словом, мировой философской мысли, а именно в направлении создания материалистического понимания истории. Благодаря этому Грановский участвовал в процессе возвышения русской мысли на международном уровне.

Этим определяется и его роль. Тот вариант философии истории, который разработал Грановский, был одним из теоретических источников соответствующих построений передовых русских идеологов, в том числе и русских революционных демократов, включая сюда и Чернышевского. Философия истории Грановского давала возможность

теоретически обосновывать передовую социально-политическую программу, что сам он делал в весьма ограниченной мере, но что делали — опираясь, конечно, не только на теоретические разработки Грановского — в гораздо более полной мере его друзья из революционно-демократического лагеря. Органическая теория Грановского существенно способствовала и развитию русской исторической науки, передовой русской общественной мысли и духовной культуры в целом. Это воздействие Грановского было тем сильнее, что он в отличие от мыслителей, которые не заботились о том, чтобы их идеи стали доступны другим, или по обстоятельствам своей жизни не могли этого сделать (как, например, П. Я. Чаадаев), стремился довести свои идеи до сознания русских людей. Он достигал этого посредством университетских лекций, публичных чтений, журнальной деятельности, и многие, очень многие русские люди были и считали себя его учениками и последователями. У Грановского было в этом отношении одно хотя и формальное, но весьма значимое преимущество по сравнению с его друзьями из революционно-демократического лагеря: он был сосредоточен на истории и на философии истории, разрабатывая их систематически и в известной степени академически, в то время как они занимались историей и философией истории наряду со многими другими областями духовной культуры — общими проблемами философии (онтологией и гносеологией), эстетикой, литературной критикой, политологией, даже художественным творчеством (как, например, Герцен, Огарев, а позже и Чернышевский, который занимался еще и политэкономией). И это формальное обстоятельство обеспечивало известное преимущественное воздействие влияния Грановского на русские умы именно на этом участке — истории и философии истории (что и отметил Герцен применительно к началу 40-х годов).

Грановский не ограничился академической, позитивной разработкой своих идей. Он повел бой с современной ему отечественной и зарубежной реакцией и консерватизмом — с национализмом, эмпиризмом, равнодушием к моральной стороне исторического процесса и моральной, мировоззренческой функцией теоретических идей. Он был непримиримым врагом «ретроспективной утопии» славянофилов, идеологии официальной народности.

Все эти обстоятельства и сделали Грановского одним из передовых деятелей русской культуры 40 — х — начала 50-х годов XIX В.

ПРИЛОЖЕНИЕ

О СОВРЕМЕННОМ СОСТОЯНИИ И ЗНАЧЕНИИ ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ

(Речь, произнесенная в торжественном собрании Императорского Московского Университета 1852 года января 12 дня) [20]

[…] Содержание истории составляют до сих пор дела человеческой воли, отрешенные от их необходимой, можно сказать, роковой основы, которую не должно смешивать с законами развития духа, выведенными a priori философиею истории. Слабая сторона философии истории в том виде, в каком она существует в настоящее время, заключается, по нашему мнению, в приложении логических законов к отдельным периодам всеобщей истории. Осуществление этих законов может быть показано только в целом, а не в частях, как бы они ни были значительны. Но сверх логической необходимости есть в истории другая, которую можно назвать естественною, лежащая в основании всех важных явлений народной жизни. Ей нет места в умозрительном построении истории; ее нельзя вывести из законов разума, но ее нельзя также отнести к сфере случайности, потому что она принадлежит к числу главных, определяющих развитие наших судеб, двигателей истории.

Быть может, ни одна наука не подвергается в такой степени влиянию господствующих философских систем, как история. Влияние это обнаруживается часто против воли самих историков, упорно отстаивающих мнимую самостоятельность своей науки. Содержание каждой философской системы рано или поздно делается общим достоянием, переходя в область применений, в литературу, в ходячие мнения образованных сословий. Из этой окружающей его умственной среды заимствует историк свою точку зрения и мерило, прилагаемое им к описываемым событиям и делам. Между таким неизбежным и нередко бессознательным подчинением фактов взятому извне воззрению и логическим построениям истории большое расстояние. С конца прошедшего столетия философия истории не переставала предъявлять прав своих на независимое от фактической истории значение. Успех не оправдал этих притязаний. Скажем более, философия истории едва ли может быть предметом особенного, отдельного от

всеобщей истории изложения. Ей принадлежит по праву глава в феноменологии духа, но, спускаясь в сферу частных явлений, нисходя до их оценки, она уклоняется от настоящего своего призвания, заключающегося в определении общих законов, которым подчинена земная жизнь человечества, и неизбежных целей исторического развития. Всякое покушение с ее стороны провести резкую черту между событиями логически необходимыми и случайными может повести к значительным ошибкам и будет более или менее носить на себе характер произвола, потому что великие события, как бы они ни были далеки от нас, продолжают совершаться в своем дальнейшем развитии, т. е. в своих результатах, и никак не должны быть рассматриваемы как нечто замкнутое и вполне оконченное. Лучшим подтверждением высказанного нами мнения о невозможности отдельной философии истории могут служить чтения Гегеля об этом предмете, изданные по смерти его Гансом. Это произведение знаменитого мыслителя не удовлетворило самых горячих его почитателей, потому что оно есть не что иное, как отрывочное и не всегда в частностях верное изложение всеобщей истории, вставленной в рамку произвольного построения.

Смутно понятая, философская мысль о господствующей в ходе исторических событий необходимости или законности приняла под пером некоторых, впрочем весьма даровитых писателей, характер фатализма. Во Франции образовалась целая школа с этим направлением, которого влияние обозначено печальными следами не только в науке, но и в жизни. Школа исторического фатализма снимает с человека нравственную ответственность за его поступки, обращая его в слепое, почти бессознательное орудие роковых предопределений. Властителем судеб народных явился снова античный fatum, отрешенный от своего трагического величия, низведенный на степень неизбежного политического развития. В противоположность древним трагикам, которые возлагали на чело своих обреченных гибели героев венец духовной победы над неотразимым в мире внешних явлений роком, историки, о которых здесь идет речь, видят в успехе конечное оправдание, в неудаче — приговор всякого исторического подвига. Смеем сказать, что такое воззрение на историю послужит будущим поколениям горькою уликою против усталого и утратившего веру в достоинство человеческой природы общества, среди которого оно возникло.

Систематическое построение истории вызвало противников, которые вдались в другую крайность. Защищая факты против самоуправного обращения с ними, они называют всякую попытку

внести в хаос событий единство связующих и объясняющих их идей искажением непосредственной исторической истины. Дело историка должно, по их мнению, заключаться в верной передаче того, что было, т. е. в рассказе. […] На историка возлагается обязанность воздерживаться от собственных суждений в пользу читателей, которым исключительно предоставлено право выводить заключения и толковать по-своему содержание предложенных им рассказов. Нужно ли обличать несостоятельность таких понятий в науке? Блестящий успех повествовательной школы при первом ее появлении не мог быть продолжительным и объясняется временным настроением пресыщенного теориями общества… Какая возможность пересказать словами источников события, наполняющие собою несколько столетий? И нет ли в таком направлении явного противоречия действительным целям науки, имеющей понять и передать в сжатом изложении внутреннюю истину волнующихся в бесконечном разнообразии явлений?

Ни одно из исчисленных нами воззрений на историю не могло привести к точному методу, недостаток которого в ней так очевиден. Усовершенствованный, или, лучше сказать, созданный Нибуром способ критики, приносит величайшую пользу при разработке источников известного рода, но отнюдь не удовлетворяет потребности в приложенном к полному составу науки методе. В этом случае история опять должна обратиться к естествоведению и заимствовать у него свойственный ему способ исследования. Начало уже сделано в открытых законах исторической аналогии. Остается идти далее на этом пути, раздвигая по возможности тесные пределы, в которых до настоящего времени заключена была наша наука. У истории две стороны: в одной является нам свободное творчество духа человеческого, в другой — независимые от него, данные природою условия его деятельности. Новый метод должен возникнуть из внимательного изучения фактов мира духовного и природы в их взаимодействии. Только таким образом можно достигнуть до прочных, основных начал, т. е. до ясного знания законов, определяющих движение исторических событий. Может быть, мы найдем тогда в этом движении правильность, которая теперь ускользает от нашего внимания.

[…] История не принадлежит ни к числу чисто теоретических знаний, имеющих задачею привести в ясность лежащие в глубине нашего духа истины, ни к прикладным, которых польза не требует доказательств. Очевидно, что практическое значение истории у древних, основанное на возможности непосредственного применения ее уроков к жизни, не может

иметь места при сложном организме новых обществ. К тому же однообразная игра страстей и заблуждений, искажающих судьбу народов, привела многих к заключению, что исторические опыты проходят бесплодно, не оставляя поучительного следа в памяти человеческой. Высказав эту мысль, как безусловную истину, Гегель вызвал против нее много не лишенных справедливости возражений. Конечно, ни народы, ни их вожди не поверяют поступков своих с учебниками всеобщей истории и не ищут в ней примеров и указаний для своей деятельности. Тем не менее нельзя отрицать в самых массах известного исторического смысла, более или менее развитого на основании сохранившихся преданий о прошедшем. В лицах, стоящих во главе государственного управления, этот смысл переходит по необходимости в отчетливое сознание отношений, существующих между прежним и новым порядком вещей. Надобно, с другой стороны, признаться, что всеобщая история в том виде, в каком она обыкновенно излагается, не в состоянии сильно действовать на общественное мнение и быть для него источником прочного назидания. Следует ли из этого заключить, что недостатки, нами отчасти указанные, останутся ее всегдашнею принадлежностью, что ее успехи будут стоять только во внешнем накоплении фактов и что из всех наук одна она утратила способность живого движения и органического развития? […Истории] предстоит совершить для мира нравственных явлений тот же подвиг, какой совершен естествоведением в принадлежащей ему области. Открытия натуралистов рассеяли вековые и вредные предрассудки, затмевавшие взгляд человека на природу: знакомый с ее действительными силами, он перестал приписывать ей несуществующие свойства и не требует от нее невозможных уступок. Уяснение исторических законов приведет к результатам такого же рода. Оно положит конец несбыточным теориям и стремлениям, нарушающим правильный ход общественной жизни, ибо обличит их противоречие с вечными целями, поставленными человеку Провидением. История сделается в высшем и обширнейшем смысле, чем у древних, наставницею народов и отдельных лиц и явится нам не как отрезанное от нас прошедшее, но как цельный организм жизни, в котором прошедшее, настоящее и будущее находятся в постоянном между собой взаимодействии. […]

Даже в настоящем, далеко не совершенном виде своем всеобщая история, более чем всякая другая наука, развивает в нас верное чувство действительности и ту благородную терпимость, без которой нет истинной оценки людей. Она показывает различие, существующее между вечными, безусловными

началами нравственности и ограниченным пониманием этих начал в данный период времени. Только такою мерою должны мы мерить дела отживших поколений. Шиллер сказал, что смерть есть великий примиритель. Эти слова могут быть отнесены к нашей науке. При каждом историческом проступке она приводит исторические обстоятельства, смягчающие вину преступника, кто бы ни был он — целый народ или отдельное лицо. Да будет нам позволено сказать, что тот не историк, кто не способен перенести в прошедшее живого чувства любви к ближнему и узнать брата в отделенном от него веками иноплеменнике. Тот не историк, кто не сумел прочесть в изучаемых им летописях и грамотах начертанные в них яркими буквами истины: в самых позорных периодах жизни человечества есть искупительные, видимые нам на расстоянии столетий стороны, и на дне самого грешного перед судом современников сердца таится какое-нибудь одно лучшее и чистое чувство. Такое воззрение может служить к ущербу строгой справедливости приговоров, ибо оно требует не оправданий, а объяснений, обращается к самим лицам, а не к подлежащим суждению делам их. Одно из главных препятствий, мешающих благотворному действию истории на общественное мнение, заключается в пренебрежении, какое историки обыкновенно оказывают к большинству читателей. Они, по-видимому, пишут только для ученых, как будто история может допустить такое ограничение, как будто по самому существу своему она не есть самая популярная из всех наук, призывающая к себе всех и каждого. […]

ЛИТЕРАТУРА

1. *Маркс К., Энгельс Ф.* Соч. 2 изд.
2. *Ленин В. И.* Полн. собр. соч.

* * *

3. *Грановский Т. Н.* Соч. 4 изд. М., 1900.
4. *Грановский Т. Н.* Лекции Т. Н. Грановского по истории средневековья. М., 1961.
5. *Грановский Т. Н.* Лекции по истории позднего средневековья. М., 1971.
6. *Грановский Т. Н.* Лекции по средней истории//М*илюков П. Н.* Из истории русской интеллигенции. СПб., 1902.
7. *Грановский Т. Н.* Лекции из средней истории// Время (Пг.). 1862. Т. IX, XI.
8. *Грановский Т. Н.* Переписка. М., 1897. Т. II.
9. *Грановский Т. Н.* [Письма к В. В. Григорьеву]// Русская беседа. 1856. Кн. IV.
10. *Грановский Т. Н.* [Письмо к Е. Б. Чичериной] 11 июля 1848 г.//Литературное наследство. М., 1933. Т. 7–8.
11. *Грановский Т. Н.* Письмо Я. М. Неверову 28 декабря 1849 г.//Звенья. М.; Л., 1935. V.
12. *Грановский Т. Н.* Письмо А. И. Герцену 1849 г.// Литературное наследство. М., 1955. Т. 62.
13. *Грановский Т. Н.* Письма А. И. Герцену июня 1849 и 1850 гг.//Звенья. М.; Л., 1936. VI.

* * *

14. *Грановский Т. Н.* Средняя история. Лекции 1839/40 гг. ОР ГБЛ[21] ф. 178, № 4184.
15. Г*рановский Т. Н.* Лекции по всеобщей истории 1842/43 гг. ОР ГБЛ, ф. 84, карт. 1, № 42.
16. *Грановский Т. Н.* История средних веков. [Публичный] курс 1843/44 гг. ОПИ[22], ф. 347, ед. хр. 17.
17. *Грановский Т. Н.* Публичные лекции 1845/46 гг. [История Англии и Франции]. ОПИ ГИМ, ф. 345, ед. хр. 19.
18. *Грановский Т. Н.* Лекции [по средней истории 1846/47 гг.]. ОР ГБЛ, ф. 178, № 3729.
19. *Грановский Т. Н.* Древняя история. Курс 1848/49 гг. ОР

ГБЛ, ф. 178, № 3798, XIII.

20. *Грановский Т. Н.* Древняя история. Лекции 1848/49 гг. ОР ГБЛ, ф. 178, № 3598, XVII, тетр. II.

21. *Грановский Т. Н.* Средняя история. [Лекции 1849/50 гг.]. ОПИЛИМ, ф. 345, ед. хр. 20.

22. *Грановский Т. Н.* Древняя история. Новая история. Лекции 1850/51 гг. ОР ГБЛ, ф. 178, № 3598, XIV, XXV.

23. *Грановский Т. Н.* Средняя история. Курс 1853/54 гг. ОР ГБЛ, ф. 178. № 3598, XXII. История средних веков. [Публичные] лекции 1845/46 гг. ОР ГБЛ, ф. 178, № 3598, XXIII.

24. *Грановский Т. Н.* Лекции по истории средних веков. Курс 1853/54 гг. ОПИ ГИМ, ф. 345, ед. хр. 24.

25. *Грановский Т. Н.* Заметки по поводу, исторических статей неизвестного автора [1844]. ОР ГБЛ, ф. 84, карт. 1, № 1.

26. *Грановский Т. Н.* [Разрозненные записи]. ОПИ ГИМ, ф. 345, ед. хр. 28.

* * *

27. Аттестат об окончании СПб. Университета. № 1103 (1835. 18 сентября). ОР ГБЛ, ф. 84, карт. IV, № 25.

28. *Грановская Е. Б.* [Дневник, Завещание, письма к ней]. ОПИ ГИМ, ф. 345, ед. хр. 32.

29. *Северцев А. А.* Воспоминания о Грановском. ОПИ ГИМ, ф. 345, ед. хр. 30.

30. Дело департамента нар. просвещения по письму попечителя Моск. Учебн. округа с программой Всеобщей истории, составленной ординарным профессором Моск. Ун-тета Грановским. 1850. 31 декабря. 1851 г. 14 июля. ОПИ ГИМ, ф. 345, ед. хр. 27.

31. *Строганов* С. *Г.* Отношение к Грановскому. 1844. 22 декабря. ОР ГБЛ, ф. 84, карт. 5180, № 25.

* * *

32. *Азадовский М.* Белинский и русская народная поэзия// Литературное наследство. М., 1948. Т. 55.

33. *Алпатов М. А.* Труды Т. Н. Грановского//Очерки истории исторической науки в СССР. М., 1955. Т. I.

34. *Андрианов А. А.*Т. Н. Грановский и общественное движение 40-х и первой половины 50-х гг. XIX века в России: Автореф. дис. канд. филос. наук. М., 1956.

35. *Асиновская* С. *А.* Архив Т. Н. Грановского// Записки отдела рукописей Гос. библ. им. В. И. Ленина. М., 1959. Вып. 21.

36. *Асиновская* С. Древняя история в лекциях Т. Н. Грановского по архивным документам//Вестник древней истории. 1956. № 2.

37. *Асиновская* С. *А.* Из истории передовых идей в русской медиевистике: Т. Н. Грановский. М., 1955.

38. *Асиновская* С. *А.* Предисловие*//Грановский Т. И.* Лекции Т. Н. Грановского по истории средневековья. М., 1961.

39. *Афанасьев Ю.* Прошлое и мы//Коммунист. 1985. № 14.

40. *Барановская М. Ю.* Книга Ф. Энгельса в библиотеке Т. Н. Грановского//Прометей. М., 1966. Т. 1.

41. *Белинский В. Г.* Полн. собр. соч.: В 13 т. М., 1953–1959.

42. *Веневитинов Д. В.* Полн. собр. соч. М., 1934.

43. *Веневитинов Д. В.* Что написано пером, того не вырубишь топором//Русские эстетические трактаты первой трети XIX века. М.,1974. Т. 2.

44. *Галактионов А. А., Никандров П.* С. Т. Н, Грановские/ Русская философия XI–XIX веков. М., 1970.

45. *Галич А.* Картина человека. СПб., 1834.

46. *Гегель.* Соч. М.; Л., 1935. Т. VIII. Философия истории.

47. *Герцен А. И.* Соч.: В 2 т. М., 1985–1986.

48. *Гершензон М. О.* История молодой России. М.; Пг., 1923.

49. *Г ригорьев В. В.* Т. Н. Грановский до его профессорства в Москве//Русская беседа. 1856. Кн. III–IV.

50. *Григорьян М. М.* Философские и социологические взгляды Т. Н. Грановского//Русская прогрессивная философская мысль XIX века. М., 1959.

51. *Громов В. А.* Забытые статьи и речи Т. Н. Грановского// Т. Н. Грановский. М., 1970.

52. *Данилов А. И.* Т. Н. Грановский и некоторые вопросы социальной истории раннего средневековья// Ученые записки Томского гос. ун-та. 1951. № 16.

53. *Каменский З. А.* Московский кружок любомудров. М., 1980.

54. *Каменский З. А.* Н. И. Надеждин. М., 1984.

55. *Каменский З. А.* О воззрениях Т. Н. Грановского на исторический процесс//Изв. АН СССР. Сер. История и философия. 1946. Т. 3. № 6.

56. *Каменский З. А.* Т. Н. Грановский//История философии в СССР. М., 1968. Т. 2.

57. *Каменский З. А.* Т. Н. Грановский//Философская энциклопедия. М., 1960. Т. I.

58. *Каменский З. А.* Философские идеи русского Просвещения:

Деистическо-материалистическая школа. М., 1971.

59. *Кертман Л. Е.* Эволюция исторических взглядов Т. Н. Грановского//Наукові записки Київсського державного ун-ту. Киев, 1947. Т. VI. Вып. 1.

60. *Киреевский И. В.* Письмо Т. Н. Грановскому// Вопросы литературы. 1979. № 11.

61. *Ключевский В.* О. Памяти Т. Н. Грановского// Соч. М., 1959. Т. 8.

62. *Корню* О. Карл Маркс и Фридрих Энгельс: Жизнь и деятельность. М., 1976. Т. 1.

63. *Косминский Е. А.* Жизнь и деятельность Т. Н. Грановского//Вестник МГУ. Сер. Общественные науки. 1956. № 4.

64. *Кулешов В. И.* Белинский и Грановский в споре о Робеспьере//Филологические науки. 1958. № 1.

65. Либерализм. Большая советская энциклопедия. 3 изд. М., 1973. Т. 14.

66. *Манфред А. З.* Споры о Робеспьере//Вопросы истории. 1958. № 7.

67. *Милюков П.* Из истории русской интеллигенции. СПб., 1902.

68. *Москаленко А. Е.* Лекции Т. Н. Грановского по истории позднего средневековья//Вопросы истории. 1973. № 6.

69. *Мякотин В. А.* Из истории русского общества. СПб., 1906.

70. *Надеждин Н. И.* История русского народа. Сочинение Николая Полевого. Т. 1//Вестник Европы. 1830. № 1.

71. *Огарев Н. П.* Письмо А. И. Герцену 2 февраля [1845]// Избр. социально-политические и филос. произв. М., 1956. Т. II.

72. *Огарев Н. П.* Письмо Т. Н. Грановскому 14 февраля [1847]//Звенья. М., 1932. I.

73. *Одоевский В. Ф.* Два дня из жизни земного шара// Московский вестник. 1828. Ч. 10.

74. *Одоевский В. Ф.* Дни досад//Вестник Европы. 1823. № 18.

75. *Одоевский В. Ф.* Сущее, или существующее//Русские эстетические трактаты первой трети XIX века. М., 1974. Т. 2.

76. *Плещеев А. Н.* Письмо к С. Ф. Дурову от 26 марта 1849 г.// Философские и общественно-политические произведения петрашевцев. М., 1953.

77. *Плотникова Е. Ф.* Римская история в трудах Т. Н. Грановского и С. В. Ешевского: Автореф. дис. канд. филос. *наук.* М., 1951.

78. *Приленский В. И.*Концепция цивилизации в русской общественной мысли первой половины XIX в. Т. Н. Грановский// Цивилизация и исторический процесс. М., 1983.

79. *Рудницкая Е. Л.* В. П. Боткин — Герцену//Литературное

наследство. М., 1955. Т. 62.

80. *Сахаров В.* Письмо И. В. Киреевского Т. Н. Грановскому// Вопросы литературы. 1979. № 11.

81. *Смирнова З. В.* Идейно-политическая борьба в России в период кризиса крепостного строя (30—40-е годы XIX в.): Формирование революционно-демократической идеологии// Очерки по истории философской и общественно-политической мысли народов СССР. М., 1955. Т. I.

82. *Станкевич Н. В.* Т. Н. Грановский. Биографический очерк//Т. Н. Грановский. Переписка. М., 1897. Т. I.

83. *Станкевич Н. В.* Переписка. М., 1914.

84. *Степанов Н. Н.* Герцен и Грановский//XX Герценовские чтения. Исторические науки. Л., 1967,

85. *Ушакова Л. А.* Т. Н. Грановский и его роль в идейной борьбе России 30—40-х гг. XIX в.: Автореф. дис. канд. ист. наук. Томск, 1959.

86. *Чернышевский Н. Г.* Полн. собр. соч.: В 15 т. М., 1939–1953.

87. *Черняк Я. З.* Т. Н. Грановский — Герцену//Литературное наследство. М., 1955. Т. 62.

88. *Чичерин Б. Н.* Воспоминания. М., 1929–1934. [Т. I.] Москва сороковых годов.

89. *Шевырев* С. Публичные лекции об истории средних веков г. Грановского//Москвитянин. 1843. Ч. VI. № 12.

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

Азадовский М. 122
Аксаков И. С. 51
Алпатов М. А. 43
Аристотель 149
Асиновская С. А. 166
Афанасьев А. Н. 9
Бакунин М. А. 6, 32, 53, 86
Барант А. Г. П. Б. барон де 159
Бахофен И. Я. 150
Белинский В. Г. 6, 8, 12, 31–34, 45, 57, 58, 73, 114, 116, 122, 173, 174
Бодянский О. М. 23
Болингброк Г. С.-Дж. 136
Бональд Л. Г. А. 87
Боткин В. П. 7, 32, 45, 58, 86
Бэр К. М. (К. Э.) 154
Вебер К. М. фон 19
Веневитинов Д. В. 11, 50, 66, 68
Вердер К. 13
Вико Дж. 90, 136
Вольтер (наст. имя Аруэ Ф. М.) 136
Галич А. И. 6, 50, 66, 68
Ганс Э. 13
Гегель Г. В. Ф. 13, 16–19, 23, 24, 61, 63, 64, 68, 83–88, 92, 96, 101, 102, 104, 109, 113, 128–130, 136–140, 145, 156, 157, 159, 161, 163, 169
Генрих IV, французский король 44
Гердер И. Г. 82, 90
Геродот 80
Герцен А. И. 6, 8, 9, 24, 26, 28–31, 33–37, 39, 45–47, 51, 52, 57, 58, 79, 86, 87, 109, 113, 114, 116, 118, 127, 173–175
Гёте И. В. 48
Гиббон Э. 11
Гизо Ф. П. Г. 11, 63, 134, 166, 169
Глинка С. Н. 28
Глюк К. В. 19
Гракх Гай 133
Гракх Тиберий 133
Григорьев В. В. 15–17, 19, 72
Гумбольдт А. 86, 112
Гус Ян 166

Давыдов И. И. 22, 29
Закревский А. А. 52
Зеленецкий К. П. 66
Изелин Исаак 80–82, 136
Иноземцев Ф. И. 24
Иовский А. А. 24
Кавелин К. Д. 7, 30, 33, 56, 58
Кант И. 68, 83, 136
Карамзин Н. М. 67
Кетчер Н. Х. 7, 54, 57–59
Киреевский И. В. 53, 54, 171
Киреевский П. В. 55
Ключевский В. О. 9, 28
Кондильяк Э. Б. де 81, 90, 106
Кондорсе Ж. А. Н. де 81 90
Корш Е. Ф. 7, 28, 45, 58
Красс Марк Лициний 165
Крюков Д. Л. 23, 166
Кудрявцев П. Н. (псевд. Нестроев) 23, 25, 166
Кузен В. 109
Куницын А. П. 65
Лебедев К. Н. 66
Ленин В. И. 9
Лео Г. фон 166
Локк Дж. 82, 90, 106
Лоренц Ф. К. 97
Макиавелли Н. 136
Маколей Т. Б. 134, 169
Малиновский В. Ф. 65
Маркс К. 28, 55, 63, 64, 74–76, 119, 122, 123, 167, 172
Маурер Г. Л. 55
Местр Ж. М. де 87
Милюков П. Н. 134
Минье Ф. О. М. 63
Мишле Ж. 44
Монтескьё Ш. Л. де 136, 154
Моцарт В. А. 19
Надеждин Н. И. 66–68
Назимов В. И. 29
Неверов Я. М. 12, 14, 15, 18, 19, 48
Нибур Б. Г. 11, 65, 120, 134, 153
Николай Павлович I, российский император 28
Огарев Н. П. 6, 28, 31, 33–37, 39, 58, 86, 116, 127, 173–175
Одоевский В. Ф. 50, 66, 63

Островский А. Н. 9
Оуэн Р. 63
Пестель П. И. 94
Петр I Великий, российский император 56
Плетнев П. А. 11
Плеханов Г. В. 114
Плещеев А. Н. 23, 52
Пнин И. П. 65
Погодин М. П. 22, 52, 66
Полевой Н. А. 11
Пушкин А. С. 11, 94
Радищев А. Н. 49
Раич С. Е. 28
Ранке Л. фон 13, 65, 131, 169
Редкин П. Г. 24
Риттер К. 13, 14, 65, 154
Робертсон У. 11
Робеспьер М. М. И. де 33, 45
Рулье К. Ф. 24
Руссо Ж. Ж. 91
Савиньи Ф. К. 13, 87, 166
Салтыков-Щедрин М. Е. 39
Самарин Ю. Ф. 50–51, 57
Сахаров В. И. 171
Сенковский О. (Ю.) И. (псевд. барон Брамбеус) 28
Сен-Симон К. А. де Рувруа Де 63
Сеченов И. М. 9
Скотт В. 10
Соловьев С. М. 23
Спартак 165
Спасский М. Ф. 24
Средний Камашев И. И. 66
Станкевич Н. В. 11–16, 18–20, 27, 32, 39, 49, 50, 53, 68–73, 77, 86, 116, 128, 129, 133, 138
Строганов С. Г. 12, 27, 28, 51
Тургенев И. С. 11, 73, 170
Тьер Л. А. 11
Тьерри Ж. Н. О. 63
Ушинский К. Д. 9
Фейербах Л. 114
Филарет (в миру Дроздов В. М.) 21, 52
Филомафитский А. М. 24
Фихте И. Г. 136
Фишер А. А. 16

Фориель (Фориэль) К. Ш. 154
Фролов Е. П. 15
Фролов Н. Г. 15, 56
Фурье Ф. М. Ш. 63
Хомяков А. С. 54, 55
Цешковский А. 86, 87, 137, 138, 156
Циммерман В. 44
Чаадаев П. Я. 6. 8, 26, 49, 57, 68, 174
Чернышевский Н. Г. 9, 49, 55, 56, 103, 169–172, 174, 175
Чичерин Б. Н. 7, 27, 41, 45, 46, 51, 123, 124
Шампаньи Ф. Ж. М. де 166
Шафарик П. Й. 20
Шевырев С. П. 22, 29, 52, 54, 85, 89
Шеллинг Ф. В. Й. 12, 61, 64, 68, 80, 83, 84, 86, 88, 89, 136, 145
Шиллер И. Ф. 13, 19, 136
Ширинский-Шихматов П. А. 29
Шлоссер Ф. К. 134, 169
Шмидт В. А. 120, 166
Шопенгауэр А. 80
Штраус Д. Ф. 13, 86
Эверс И. Ф. Г. 66
Эдвардс В. Ф. 112, 154
Энгельс Ф. 28, 55, 62–64, 73, 75, 86, 122, 123, 172
Юм Д. 11
Языков Н. М. 55

notes

Примечания

1

Здесь и далее в скобках сначала указывается номер источника в списке литературы, помещенном в конце книги, затем курсивом — номер тома, если издание многотомное, и далее — страницы источника, источники отделяются точкой, страницы — точкой с запятой (Ред.).

2

К этому месту в «Переписке» Грановского сноска редактора: «Речь шла о крепостных крестьянах».

Об этом понятии шла речь еще в переписке Станкевича с М. А. Бакуниным, когда Станкевич вместе с Грановским находился (в январе 1838 г.) в Берлине (83, 650), так что обсуждение проблемы восходит к периоду формирования воззрений Грановского.

4

Следует иметь в виду некоторую трудность адекватного восстановления отношения Грановского к народным массам по его переписке: в ее единственной публикации в виде отдельного издания «опускались места, подчеркивающие демократические черты мировоззрения ученого…» (35, 23).

5

Это, очевидно, не совсем точная передача мысли Грановского. Он всегда подчеркивал, что древняя цивилизация разлагалась изнутри и только поэтому могла быть разрушена варварами.

Эти слова (как, впрочем, и цитированное письмо к Чичериной и некоторые места из печатных статей. — Ср. 3, 447) свидетельствуют о том, что Грановский следил за рабочим движением на Западе. Он черпал эти сведения не только из книг, но и из немецких газет, которые, по свидетельству Б. Н. Чичерина, получал (см, 88, 75).

Можно согласиться с публикатором писем Грановского к Герцену, который утверждает в комментарии к этой публикации, что после 1848 г. «Грановский оставался непримиримым врагом деспотизма Николая I; письма его дышат ненавистью к угнетателям просвещения и литературы…» (87, 88).

8

Подробнее о любомудрах см, 53, о Надеждине см. 54.

9

На теснейшую связь идей Грановского с воззрениями Станкевича указал И. С. Тургенев, который и сам подпал под воздействие главы Московского кружка. Важно также отметить, что воздействие Станкевича на Грановского, Тургенева, а также и на В. Г. Белинского шло именно и главным образом по этой линии — по линии подчеркивания идеи свободы личности, необходимости ее гармонии с обществом.

10

В студенческие годы да и в курсах 40-х годов Грановский положительно оценивал рассмотрение Гегелем и «древнего мира» (см. 8, 359. 19, тетр. 2, л. 4 об.).

11

Рассмотрение истории народов по их «моментам» и «возрастам» мы находим у Гегеля, который дает периодизацию истории, исходя из некоторых «принципов всемирной истории»: первый (Восток) — это «непосредственное сознание, субстанциальная духовность» (46, 101; 99); второй (греческий мир) — «нравственное начало», запечатленное «в индивидуальности» и потому означающее «свободное хотение индивидуума»; третий (Рим) — «царство абстрактной всеобщности» и, наконец, четвертый (германский мир), когда «старческий возраст духа оказывается его полною зрелостью, в которой он возвращается к единству, но как дух» (46, 101;,103). Занимаясь «делением истории» на периоды и проводя в этой связи «сравнение с возрастами человека», он сравнивает Восток с «детским возрастом истории», Среднюю Азию — с «юношеским возрастом», «римское государство» — с *«возрастом возмужалости* истории», *«германское* государство… при сравнении с возрастами человека… соответствовало бы *старческому возрасту»* (46, 101; 99; 103).

12

Для научной и просветительской работы Грановского характерно, что он внимательно следил за новейшей западной исторической литературой и осведомлял о ней своих слушателей и читателей с молниеносной быстротой. Так это было не только с названной книгой Ф. Мишеля, но и с книгами Б. Г. Нибура *(Niebuhr B. G.* Vortrage uber romische Geschichte. Berlin, 1846–1847. Т. 1–2), А. Шмидта (*Schmidt A.* Geschichte der Denk- und Glaubensfreiheit. Berlin, 1847) и другими.

Вот почему никак нельзя согласиться с мнением М. Азадовского, который усматривал в процитированной рецензии Грановского отрицание «творческой роли народных массс в историческом развитии», а в статье Белинского «О сельском чтении» — критический ответ Грановскому (см. 32, 146). Наоборот, цитаты, которые приводит М. Азадовский из статьи Белинского, показывают единомыслие обоих друзей в этих вопросах, в том числе и об их отношении к славянофилам, «мистическим философам», как называет их Белинский (см. 41, 70, 367).

14

Неправ был редактор первого издания Сочинений Грановского, когда, публикуя запись лекции Грановского «Об Океании и ее жителях», говорил, что этой теме «не находилось места в университетском курсе» (3, 564).

Это — та же фактическая ошибка современной Грановскому науки о первобытном обществе; дело обстояло на самом деле наоборот: род разложился на семьи, но это стало известно много позже.

16

Ср. у С. А. Асиновской: в конце 40-х годов «возрос интерес Грановского к вопросам социальной и экономической истории…» (38, 10). Известно, что в библиотеке Грановского имелись сочинения экономистов и что он читал эти книги.

17

Курсы 50-х годов обнаруживают, что и в эти, как и в 40-е, годы у Грановского не исчезал значительный интерес к отечественной и иностранной исторической литературе. Не говоря уж о том, что к каждому крупному отделу курса Грановский указывал слушателям новейшую русскую и европейскую литературу, он ссылался на нее и полемизировал с ней в самом курсе. Так, в курсе средних веков 1849/50 учебного года он давал высокую оценку сочинению П. Н. Кудрявцева «Римские женщины», тогда еще не вышедшему отдельной книгой (вышла в 1856 г.), ссылался на московского профессора Д. Л. Крюкова; он полемизировал с историками А. Шмидтом и Ф. Ж. М. Шампаньи по поводу слишком тесных сближений античности и современности, критиковал пренебрежительные отзывы Г. Лео о Я. Гусе и чехах, спорил с Гизо по вопросу о быте древних германцев, ссылался на новейшие работы Ф. К. Савиньи, на труды по первобытной культуре и т. п.

В этом отношении нельзя не указать на одно противоречие в оценках Грановского Чернышевским. Называя здесь Грановского «великим ученым» и ставя его выше названных европейских историков, он в этой же статье пишет, что «собственно в европейской науке его сочинения не могут произвести эпохи», т. е. отрицает, что он был «великим ученым». Утверждение Чернышевского о том, что служение Грановского просвещению народа, а не разработка специальной науки было следствием сознательного выбора ученого-патриота, а вовсе не его неспособности к собственно научно-исследовательской деятельности, представляется развитием идеи, высказанной И. С. Тургеневым в письме, направленном им в редакцию «Современника» (возглавлявшегося в то время Н. Г. Чернышевским) на следующий же день после похорон Грановского и напечатанном в нем.

Так, например, в письме к Грановскому И. В. Киреевский просит прислать записи его лекций, а публикатор письма В. Сахаров утверждает, что Киревский, по-видимому, получил «конспекты и описания отдельных лекций от своей тетушки, писательницы А. П. Зонтаг» (80, 249), которая, следовательно, также имела эти лекции.

Грановский Т. Н. Полн. собр. соч. СПб., 1905. Т. II. С. 64–71.

21

Отдел рукописей Гос. библ. СССР им. В. И. Ленина. Курсы приводятся в порядке хронологии.

Отдел письменных источников Гос. Историч. музея.